

И(Чини)
Н 54

ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

ПАБЛО НЕРУДА

ВРЕМЯ ЖИЗНИ



20923

197
2105

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдачи

858/3012

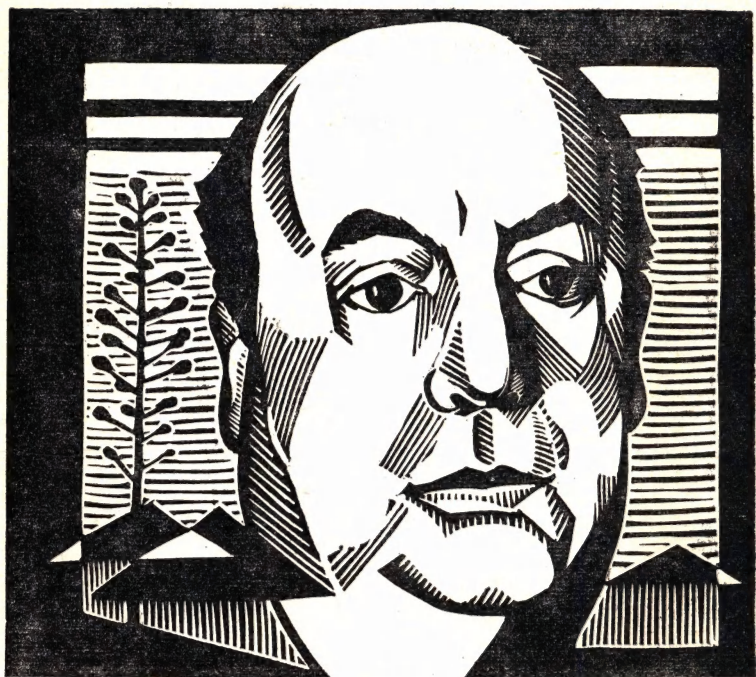
Бух. тип. № 7. 10296 — 10.000 000.



ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА



Pablo Neruda

1904 — 1973

ПАБЛО НЕРУДА

ВРЕМЯ ЖИЗНИ

Стихотворения

Переводы с испанского

2052

-90923-

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Центр культуры "Городный Штат"
г. Екатеринбург

Профессионал

Библ. экз. 3

Москва

«Молодая гвардия»
1982

И(Чили)
84.70
Н54

*Предисловие Павла Грушко
Художник Н. Шарипова*

Н $\frac{4703000000-047}{078(02)-82}$ 257-81.

© Состав, предисловие, переводы со знаком °, издательство
«Молодая гвардия», 1982 г.

ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Еще один поворот, дорога взбегает на дюны, и сквозь заросли проступают очертания дома. На высокой конусообразной опоре висят колокола, большое штурвальное колесо делает похожим этот дом на корабль, — так и кажется, будто он уплывает в океан, дышащий неподалеку... Столько лет я мечтал побывать в доме Пабло Неруды! Мне казалось, что, ступив на землю Исла Негра, я смогу глубже проникнуть в стихи поэта, а сейчас получилось, что его стихи сами помогают понять эту страну, ее народ, почувствовать себя как дома на берегу, где камни складчаты, словно слоновая кожа. И океан я уже слышал в его стихах... Одинокие араукарии*, дюны, альбатросы, словно застывшие на лету... И понимаешь, что поэзия Неруды — целая земля, где есть все, а вернее, что Неруда выразил себя своей землей. Он сам сказал об этом:

Простите, что я все время,
рассказывая о себе,
сбиваюсь на эту землю:
такая это земля.
Если в тебе растет она,
значит, и ты растешь.
Если в тебе погасла,
гаснешь и ты.

Он ни в чем не солгал — ни в воспоминаниях, ни в описаниях того, что с ним ежесекундно происходило, ни в прорицаниях. В дни черного сентябрьского затмения погас и он. Но для поэзии своей он испросил бессмертие.

Вот уже почти десять лет, как Пабло Неруды не стало, а его автобиография, факты которой разбросаны по мно-

Слова, помеченные знаком *, объяснены в примечаниях.

жеству стихотворений, все больше интересует почитателей поэта. Диковинные фразы и образы, — выстроив их сейчас, я попробую словами самого Неруды обрисовать его детство и отрочество, жизнь нелюдимого подростка, этого одинокого «я», которое тянется к миру всех «я», имя которому — «мы».

1. «Дитя лесов и зимних железных дорог...»

Как нечто, вышедшее из воды, нагое и непобедимое, — он родился в Араукании, вернее в Левиафании, которую называл в дальнейшем то Архипелагиней, то Океанной, — родился в день-плюс, когда свет был уже поделен, а море дралось, подобно многолапой пуме, вылепленной из чистой соли.

Его отец был моряком земли и на своем поезде добирался до самых глухих гаваней леса, пока однажды, сев на Поезд Смерти, уже не возвратился. Мать умерла через месяц после рождения ребенка, так что воспитывать его пришлось Доброте в темном бедняцком платье — это была Свежесть солнца с лампадкой в руках, Святость воды и теста, а точнее — вторая жена отца, Тринидад Марверде, которую он ни разу не назвал мачехой, а звал Матушкой.

Будучи недотепой, он проворонил в детстве все ластик, карандаши и ручки и даже первый поцелуй. Научившись говорить, овладел бессвязностью: никто его не понимал, да и он сам себя, пока не нашел на поляне слово «душица», слово-нить — оно-то и вывело его из лабиринта на волю.

Позже, между смертью и тем, что называют бессмертием, он выучился на гитару, в этом тугом ремесле его сердце уже не знало покоя, он почувствовал жажду слова, ожегся пламенем звука, услышал мглу крика. Тогда-то он и приехал в Сант-Я-Город, где продолжал комкать слова: слишком уж они были гладкие, а ему хотелось, чтобы в слове была шероховатость, короста соли, беззубая щербатость земли, кровь говорящих или молчащих...

В земной глухомани, рядом с высочайшими Андами и глубочайшим Тихим океаном, в самом начале века формируется, ломается и крепнет голос одного из величай-

ших поэтов современности. Детство Неруды поразительно схоже с детством нашего Маяковского, судите сами:

Неруда

«Отец был железнодорожником в Темуко. Сопровождал груженные щебенкой поезда... Такой поезд обслуживали необычные люди... Им платили жалкие гроши...»¹

«Суровый отец возвращался от поездов... А в это время мрак и лютый ливень постепенно заливали мир, и слышен был лишь ветер, боровшийся с дождем...»³

«Иногда отец брал с собой меня... От тамошней природы я словно пьянел... Птицы, жуки, яйца куропадок...»⁵

«Отец рассказал, как умер Монхе. Сорвался с поезда и покатылся в пропасть...»⁷

Маяковский

«Отец... лесничий; высокий, широкоплечий... Он был слит с природой... Выдача разрешений на порубки... Крестьяне просят уступить за лес... Отец добавляет из своего кармана...»²

«Служба лесничего опасная... Много бессонных ночей проводили мы, ожидая возвращения отца из разъездов. Тревожили жуткие темные ночи, скверные дороги...»⁴

«Отец стал брать меня на верховые объезды лесничества... Над лесами горы... Перевал. Ночь. Тропка узешшая... Ветка с размаху шипами в мои щеки...»⁶

«Отец шел, беседуя с обездчиком... Обернулся к спутнику, но его уже не было — он провалился в пропасть...»⁸

В недавно вышедшей в Испании книге «Невидимая река» собраны малоизвестные, ранние стихи Неруды, не входившие прежде в его сборники. Там есть фотография девятнадцатилетнего Пабло в фас: при боковом освещении видна лишь правая половина лица, как при частичном затмении Луны. Что на невидимой стороне будущего? Какие горы, кратеры, моря? Как сложится судьба Неруды?.. В этой книге, среди вещей 1923 года, мы находим поразительные строки (подписанные псевдонимом «Сашка» — именем одного из персонажей Леонида Андреева, которым Неруда так увлекался в ту пору): «Нас проглатывает все та же злобная глотка, все то же страш-

¹ П. Неруда. Признаюсь, что я жил.

² Из воспоминаний Л. В. Маяковской.

³ П. Неруда. Стихотворение «Отец».

⁴ Из воспоминаний Л. В. Маяковской.

⁵ П. Неруда. Признаюсь, что я жил.

⁶ В. Маяковский. Автобиография.

⁷ П. Неруда. Признаюсь, что я жил.

⁸ В. Маяковский. Автобиография.

ное чудовище. Но я — слышите? — должен освободиться. Понимаете? Прыжок в высоту, взлет в бескрайние небеса, — я совершу это, и раньше вас. Прежде, чем сгнить, я должен стать другим, должен преобразиться, освободиться. Веселитесь и дальше. Без меня. А я — выдираюсь из всего этого, сбрасываю одежды, которые вы видели на мне, и, обезумев от ненастья, опьяненный свободой, съезживаясь перед лицом угроз, кричу вам: «Жалкие люди!..» В этой «пощечине общественному вкусу» (снова вспоминается Маяковский) Пабло Неруда той поры. Мотор уже работает, только еще не все трансмиссии наброшены на него.

2. «В самом пекле истерзанных наций...»

Все увещевали: «Останься здесь...», а он начал жизнь, полную плаваний и возвращений, стал жить в колоде неродившихся еще стран, в колониях, не умевших рождаться, среди неопубликованных знамен для будущей крови, в самом пекле истерзанных наций, чужим хлебом заедал свои горести.

Позже он жил в Испании, и Испания стала жить в его сердце, перед глазами было сухое лицо Кастилии, похожее на кожаное море, запах жизни был острым, его дом прозвали домом цветов, — в каждом уголке здесь взрывалась герань.

Но однажды утром все запылало, изпод земли стали выбиваться костры, появились громы с самолетами, и кровь детей текла по улицам, как кровь детей. В Испании под ножами погиб миллион людей, другой миллион ушел в изгнание. Правду убили и свалили в могилу.

Дымом заволокло горизонт. В своих пещерах завожилось расчетливое волчье, и зримый образ пожара поплыл из страны в страну. Ничто не могло удержать кровавый локомотив, и в воздухе поплыл пепел сожженных детей, пепел плачущих глаз, не ведавших еще за миг до сожжения, что их сожгут, пепел городов и виртуозных рук.

Но во мраке мерцала алая звезда Сталинграда. Плясал Нью-Йорк, подстригал газоны и ухаживал за лебедями Лондон, а далекий город сражался. И поэт кричал ему: «Брат, не сдавайся! Огненный город, держись! Хотя ты и умираешь, ты не умрешь, Сталинград!..»

Когда он снова вернулся на родину, в его глазах ожили еще одни глаза — в ожогах, в бельмах, но этими глазами он стал видеть сквозь землю, сквозь туманные догадки.

Правда, которая пряталась за тучи, вдруг засияла ярче всех солнц. За латиноамериканскими знаменами — серебряными, синими, золотыми, украшенными звездами, — ему открылись нищие земли, открылась беднота с проселков и полей его континента. Он увидел тех, кто заседали в клубе и с утра до поздней ночи мололи речи, покачиваясь на волнах удачи, в то время как темный бедный ангел — оборванный простомодин — тащился босой по каменистым обочинам жизни.

В ту пору принесли из какого-то тайника темный лавр и увенчали поэта — признали его. Он обходил деревни, где крестьяне выучили назубок голод: они оглядели поэта, который брел по вулканам, водам, лесам, признали его и спрятали в своих зарослях. Здесь он нашел свою человеческую родню и мало-помалу привык к тому, что у него тысячи братьев. Позже он выплыл из этих лесов и вод, вооруженный пламенной ясностью своего напева.

Когда упала бомба (американская, атомная, в Хиросиме), ему захотелось исчезнуть, переменить планету, породу: бездонным был этот стыд — быть человеком, точь-в-точь таким же, как расщепляющий и расщепленный. Он стал сторониться даже любимого моря: может быть, рыбы одеты в ядерную чешую, а в океанской глуши вместо первичного холода разрастается пламя смерти? Он умирал со всеми, кто умер, — и поэтому выжил, упорный в летописании, в своей нерушимой надежде.

И когда надежда сбылась и чилийцы вынесли из тюрьмы израненную, со следами пыток отчизну, он ласкал ветер, солнце, семена и волны влюбленным взглядом юноши...

Пабло Неруда написал так много, что даже искушенные его читатели похожи на людей, гуляющих лишь по опушке таинственного леса. Все равны перед этой громадой — все только начинают. Но с какого стихотворения ни начать, обаяние его поэзии делает тебя ее почитателем. Первый день нового года «прибегает, словно жере-

бенок, отбившийся от табуна». Паук, которого костят на своих глупых страницах «сварливые упрощенцы», в этих стихах — «конструктор и волшебный часовщик».

Поэзия Неруды дышит: то расширяется до беспредельности хаоса, то ужимается до плотности камня.

Оглядывая все его творчество, видишь, как последовательно сменяют друг друга живые ритмы: юношеская ностальгия «Двадцати стихотворений любви и одной песни отчаяния» — и открытая страстность «Третьего местожительства» и «Всеобщей песни», светлый лирический покой «Стихов капитана» — и напряжение «Од изначальным вещам», едкая ирония «Эстрадагарио» — и политический накал «Героического деяния», и снова освященная памятью печаль «Мемориала Исла Негра», и светлые взмахи крыльев «Птиц Чили», и пепельное «Светопреставление», и пафос «Хвалы чилийской революции»...

Когда-нибудь электронное устройство проведет словарный анализ поэзии Неруды: отсеяв термины и географические названия, имена растений и животных (а некоторые произведения Неруды могут выполнить роль определителей растительного и животного мира), оно приведет нас к тому основному материалу, из которого строятся нерудовские образы. И мы удивимся: слов немного — вода, камень, листва, солнце, соль, ветер... При всей изобретательности сюжетов, от однострочного стихотворения «Моя душа» до драматической кантаты «Сиянье и смерть Хаокина Мурьеты», Неруда поражает удивительной приверженностью к первородному словарю, умением связывать слова: они не ссыпаны в стихотворную фразу, а спаяны в ней, прикипели одно к другому. У вас на глазах два или три слова сходятся для того, чтобы от их союза родилось нечто третье, некое излучение — то, что и есть поэзия. Она запечатлела не только статический мир, но и неуловимые мгновенные состояния природы. В его стихах, например, можно насчитать сотни видов воды: «взлохмаченный хлопок бури», «средоточие всемирной сини», «линия, умытая солью», «вода берет уроки чистоты у камня», «мгновенные обличья хрупкой пены», «кровавый морской кратер», «весь вежливый океан», «волна, как бабочка», «гулкий огромный разброд», «синее учреждение», «пространство Океании», «берег угрюмых бурь», «соленая роза ветров», «прибрежная тяжба», «целостность океана», «просторное одиночество», «волны, нагие, дерзко пляшут на ветру», «кислый настой берега», «белый бунт пены»... Это лишь малая часть образов океа-

на. Этот адамов язык, желание как бы впервые назвать по-своему все, что есть в мире, позволяло Неруде создавать «почти из ничего почти все». Из этого первородного материала и возникают его стихи, которые

растут из тишины, где тьма и корни,
из зерен, чьих ростков не удержать,
из дней пшеничных и воды безбрежной.

У Достоевского в «Преступлении и наказании» (в письме, полученном Раскольниковым от матери) есть слова: «Ты наше всё». Читая стихи Неруды, я каждый раз вспоминаю о неразрывной связи этих трех слов. Поэзия Неруды — наше все: наш мир, все, что в нем было, есть и будет. У этого дерева жадные корни, углубленные в доступные человеческому знанию недра времени, а ветви будут осенять еще не одно поколение людей.

3. «Я есмь, я здесь!»

Его душа всегда была полна мерцанием Чили, чистым напевом чилийского леса, никогда он не отвергал забот своего нежного — снежного — края, даже на чужбине. Он любил самые глубокие корни своей холодной маленькой родины.

И видя, как в ночи хлопочет сумрачный преступник, подносящий запал к гражданской войне, он просил сограждан отдать родине свой ум, свое время, все, чем они богаты. В предпоследний, в двадцать откровенный раз гудел его колокол!..

*И когда настал день-минус, расстрелявший с порога Сальвадора Альенде * и столько друзей, он, не вынеся горя, умер. Так ее перворастительность Земля приняла поэта под черный купол своего театра. Но он еще успел сказать:*

Друзья, я остаюсь,
я из Икике,
я с черных виноградников Парраля,
от рек Темуко я происхожу,
от тоненькой земли —
я есмь, я здесь!..

Жизнь, прямая и четкая, омытая приливами и отливами, озаренная пожарами дня и ночи. В этой поэзии нет ни верха, ни низа, а есть грандиозность удаления от обы-

денности: падение в небо, восхождение на дно. Мерки «верх» и «низ» не подходят для поэзии Неруды, как не подходят они для космического пространства. Неруда ни к чему не приноравливался — он дышал, — этот, может быть, один из самых естественных поэтов XX «нескончаемого, ноющего, как зуб» века.

Уже после его смерти вышли в свет восемь поэтических книг (он готовил их к своему семидесятилетию, до которого не дожил нескольких месяцев) и книга воспоминаний «Признаюсь, что я жил».

Путь Неруды — гражданина и поэта — путь Человека к Человечеству.

Павел Грушко

**ИЗ КНИГИ
«СОБРАНИЕ ЗАКАТОВ»
(1923)**

НАВАЖДЕНИЕ ЗАПАХА

Запах
первой сирени...

Были в детстве прозрачны ручьи и закаты,
и текли сквозь камыш и осоку мгновенья.

Взмах платка и перрон. И не будет возврата
к золотистой звезде над кипеньем сирени.

Придорожная пыль и усталость утраты.
От тоски ножевой не отыщешь спасенья.

...Где-то колокол плачет, как плакал когда-то,
где-то девичьи очи светлы и весенни...

Запах
первой сирени...

FAREWELL *

I

Из глубины тебя в глаза мне смотрят
глаза еще не сбывшегося сына.

Во имя этой жизни наши жизни
должны, родная, слиться воедино.

Во имя этих рук, его рученок,
мои должны бы убивать и строить...

Во имя этих глаз ты спрячешь слезы,
хотя без слез большее будет втрое.

II

Не надо этого, родная.

Пусть нас не держит никакая сила,
насильно нас с тобой соединяя.

Ни слово, осененное тобою,
ни то, чего не высказать словами.

Ни ливень страсти, прошумевший мимо,
ни дрожь твоих ресниц при расставанье.

III

Я люблю любовь морских скитальцев:
поделуют — и прощай.

Обещают возвратиться.
Не вернутся, так и знай.

Что ни порт — еще невеста...
Манит моря водоверть.

Там в постели белой пены
на себе их женит смерть.

IV

Люблю любовь, где двое делят
хлеб и ночлег.

Любовь, которая на время
или навек.

Любовь — как бунт, назревший в сердце,
а не сердечный паралич.

Любовь, которая настигнет,
любовь, которой не настичь.

V

Не опоить мне больше свои глаза твоими.
Не заживить мне ими пронзительную боль.

Но где б я ни был, буду твои глаза я видеть,
и боль мою повсюду ты понесешь с собой.

Я был твоим, родная. А ты моей. И значит,
отпущено любовью так много нам двоим.

Я был твоим, родная. И ты была моею.
Другой тебя полюбит. И станет он твоим.

Я ухожу в печали. Но я всегда печален.
Из края нашей встречи в какой иду я край?

«Прощай!» — мой сын мне шепчет из-под родного
сердца.

И я шепчу: «Прощай!»

ОСЕННЯЯ БАБОЧКА

Кружится бабочка на солнце,
вся загораясь временами.

Листа коснется, застывая,
частица пламени живая —
и лист колышет это пламя.

Мне говорили: «Ты не болен.
Все это бред. Тебе приснилось».

Я тоже что-то говорил им.
И лето жатвою сменилось.

Печальных рук сухие кисти
на горизонт роняет осень.
И сердце сбрасывает листья.

Мне говорили: «Ты не болен.
Все это бред. Тебе приснилось».

И время хлеба миновало.
И снова небо
прояснилось.

Все на земле, друзья, проходит.
Все покидает и минует.

И та рука, что нас водила,
нас покидает и минует.

И те цветы, что мы срываем.
И губы той, что нас целует.

Вода, и тень, и звон стакана.
Все покидает и минует.

И время хлеба миновало.
И снова небо
прояснилось.

А солнце лижет мои руки
и говорит: «Тебе приснилось».

И ты не болен. Это бредни.
Взлетает бабочка и чертит
круг огнецветный
и последний.

МЫ ПОРОЗНЬ ШАГАЛИ

Мы порознь шагали, но шаг отдавался
созвучьем единым.

Он шел безголосо, и бился мой голос
под небом пустынным.

И радость, меня захлестнувшая утром,
угасла ничейной.

Согнула мне плечи сиротская ноша
печали вечерней.

И рядом он встал, окровавлен и светел,
лучась, обжигая...

И боль моя этой крошечною ночью
вошла ему в сердце.

И рядом шагаем.

МОЯ ДУША

Моя душа — в потемках пустая карусель.



0502
- 90923 - 42606 -

ИЗ КНИГИ
«ДВАДЦАТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ЛЮБВИ
И ОДНА ПЕСНЯ ОТЧАЯНИЯ»
(1924)

ДВАДЦАТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ЛЮБВИ

III

О сосновый простор, грохот на волноломе,
мерная смена света, колокольный прибой.
Закаты загустевают в твоих глазах, мое чудо,
раковина земная, — все земли поют тобой.

В тебе все реки поют, и душа моя с ними
течет, как ты повелела, в тобой открытый предел.
Укажи мне, где цель, стань тетивой надежды,
и я в опьяненье на волю выпущу стаи стрел.

Всюду вокруг я вижу, как зыблется твое тело.
Твое молчанье — облава моих пугливых минут,
твои хрустальные руки — гавань моим поцелуям
и влажным моим желаньям долгожданный приют.

На устах у любви твой голос влажнеет, крошится
в час, когда вечер гулкий катится в пустоту!
Так на доньшке дня я слышу, как в чистом поле
молодые колосья шуршат у ветра во рту.

IV

Непогода с рассвета
на переломе лета.

Облака — словно ворох белых платков разлуки,
которыми на прощанье машет ветер шальной.

Вездесущее сердце ветра бьется над нашей
влюбленную тишиной.

Звенит неумолчно в кронах поднебесным оркестром,
как будто битвы и песни сошлись на его устах.

Ветер в беглом набеге листья крадет с деревьев
и отклоняет от цели стрелы трепетных птах.

Ветер листву свергает водопадом без пены,
веществом невесомым и отвесным огнем.

Распадается ворох лиственных поцелуев
у входа в обитель ветра летним ненастным днем.

VI

Я вспоминаю — какой ты была в последнюю осень.
Ты серым беретом была, сердцем в осенней тиши.
Сражались в твоих глазах сумеречные зарницы.
И листья сонно слетали на заводь твоей души.

К моим рукам повитью ты прижималась тесно.
Твой голос неспешный листва впитывала в тиши.
Оцепенелый костер — в нем жажда моя пылала.
Синий жасмин, дрожащий возле моей души.

Глаза твои кочевали по мне, отступала осень.
Серый берет, щеглиный голос, сердце-очаг —
к тебе осеннею стаей слетались мои надежды,
и поцелуи тлели веселым жаром в ночах.

Небеса с корабля. Даль полевая с нагорья.
В памяти ты — как свет, дым и затон в глуши!
А за твоими глазами отгорали закаты.
И осень сухой листвой касалась твоей души.

VIII

Звенишь пчелою белой, от меда охмелев,
в моей душе, — и вьешься в тягучих струях дыма.

А я — само унынье и безответный зов,
все было у меня, и все промчалось мимо.

В тебе — последнем тресе — последней страстью рвусь.
Ты мой последний мак в последнем одичанье.

Я крик, а ты молчанье!

Сомкни глубины глаз, где ночь крылами бьет.
И тело обнажи, пугливая колонна.

В глубинах твоих глаз бьет плавниками ночь.
Весна цветущих рук, роз ароматных лоно.

Тень бабочки ночной легла на твой живот.
Как раковины, груди твои блестят ночами.

Я крик, а ты молчанье!

Так одиноко здесь. И нет тебя. Дождит.
В сетях морского ветра седые чайки тонут.

Вода вдоль мокрых улиц блуждает босиком.
И ветви, как больные, с промокшей кроны стоют.

Исчезла, а звенишь пчелой в моей душе.
Во времени сквозишь безмолвными лучами.

Я крик, а ты молчанье!

IX

Я правлю парусником роз, как летний полдень,
в хмелю от губ и от смолистого дурмана,
и, к смерти тающего дня перемещаясь,
отвердеваю в вязкой страсти океана.

Как бледный раб моей прожорливой пучины,
плыву сквозь едкий запах новою протокой,
весь в сером до сих пор и в горьких звуках,
в кирасе жалобной из пены одинокой.

В огне и стуже, лунный, солнечный, внезапный,
дубленный страстью, на волне-владыке нежась,
я сплю в гортани благостных архипелагов,
чья милость белая — как белых бедер свежесть.

Во влажном мраке мой покров из поцелуев
слепыми замыслами наэлектризован,
я разделен на сны сраженьем этим славным,
оно меня уводит в плен к дурманным розам.

На гребне внешних вод ты рыбою всплываешь
в мои объятия параллельным телом тесным,
сплотясь в одно с моей душой — молниеносным
и нерешительным набегом поднебесным.

XV

Люблю, когда ты молчишь, словно ты отлучилась,
словно тебя мой голос издали не достает,
и кажется, будто твои глаза от тебя улетели,
и кажется, что поцелуем твой запечатан рот.

Поскольку все вещи в мире полны моею душою, —
ты брезжишь из всех вещей, душою моею полна,
бабочка полусна, ты с душой моею схожа,
схожа со словом «грусть», бабочка полусна.

Люблю, когда ты молчишь, так, словно ты далёко
и жалуешься на что-то, тихая бабочка-стон.
Издалека мой голос не может тебя настигнуть, —
пусть же в твоём молчанье угомонится и он.

Позволь и мне говорить с тобою твоим молчаньем,
которое лампы светлей, бесхитростней перстенька.
Ты похожа на полночь, звездную и немую,
твоя немота — от звезд, бесхитростна и далека.

Люблю, когда ты молчишь, словно ты отлучилась
в скорбное уединенье, — словно ты умерла.
И тут достаточно слова или просто улыбки —
и радуюсь, радуюсь я, что смерть неправдой была.

XVI

Облаком ты всплываешь в мои закатные дали,
твой цвет и форма такие, какими я их творю.
Твои медовые губы моими, моими стали,
а стаи моих желаний жизнь обживают твою.

Лампой моей души я ноги тебе румяню,
на губах твоих слаще стократ мой горький настой:
как ты мила моему неприкаянному желанью,
жница моих напевов, навеянных темнотой!

«Ты моя, ты моя!» — кричу в вечерней прохладе,
голос мой вдовый с ветром уносится на закат.
Ныряльщица, твой улов, похищенный в моем взгляде,
делает остекленелым твой полуночный взгляд.

В сетях напевов моих ты — как пленница птица,
мои напевные сети просторны, как вышина.
Над омутом твоих глаз душа моя рада родиться,
в омуте твоих глаз — начало державы сна.

XIX

Девочка, смуглый ветер! Солнцем, творящим жито,
свивающим донные травы, створаживающим плоды,
твой звездный взор сотворен, и веселое тело,
и губы твои, в которых сквозит улыбка воды.

Едва ты раскинешь руки — черное алчное солнце
струится в легких волокнах гривы твоей смоляной.
Солнце в пальцах твоих играет, словно речушка,
в твоих глазах застывая темнотою двойной.

Девочка, смуглый ветер, ничто меня не сближает
с тобою — все отдаляет, как тяжкие облака.
Слепая юность пчелы в теле твоём смешалась
с опьяненьем волны и упругостью колоска.

Но я ищу моим смутным сердцем твой вольный голос
и твоё веселое тело, не ведающее стыда.
Смуглый мой мотылек, нежный и совершенный,
словно колос и солнце, словно мак и вода.

XX

Я волен сегодня ночью стихи доверить печали.

Могу написать, к примеру: «Вызвездило небосвод,
и дрожат, голубые, в дальней дали планеты...»

Ветер ходит кругами в сумраке и поет.

Я волен сегодня ночью стихи доверить печали.
Я любил, и она любила меня порой.

В ночах, похожих на эту, я обнимал подругу,
столько раз целовал под звездною пеленой.

Она любила, и я порой любил ее тоже,
перед ее бездонным взглядом кто б устоял!

Я волен сегодня ночью стихи доверить печали:
грустно, что я один, что я ее потерял.

Этот глубокий мрак без нее еще глубже.
На душу строки ложатся, словно роса на траву.

Что же, моя любовь сберечь ее не сумела.
Вызвездило небосвод. И я без нее живу.

Вот и все. Вдалеке кто-то поет чуть слышно.
А душа не согласна, ищет потерянный след.

Глаза без усталы ищут, чтобы ее приблизить.
Ищет ее мое сердце, а ее уже нет.

Та же ночь, и деревья все так же во мгле белеют,
А мы — другие, и снова прежними нам не стать.

Я разлюбил, все верно, но как любил ее раньше!
Голос ветра искал, чтобы слуха ее достать.

С нею другой, а прежде губы мои с ней были —
с голосом, ясным телом, взглядом долгим ее.

Я разлюбил, все верно. Но и люблю, наверно:
так коротка любовь, так долог путь в забытье.

Ведь я ее обнимал точно такой же ночью.
Не согласится никак душа с потерей своей.

Хоть эта боль и последняя, которой она меня ранит.
И эти строки последние из тех, что пишу я ей.

ПЕСНЯ ОТЧАЯНИЯ

Твой лик всплывает из ночи, в которой я обитаю.
Река прикипела к морю, боль свою вороша.

А я покинут, как пристань в предрассветную пору.
Пора собираться в путь, покинутая душа!

На сердце мое опадают венчики ледяные.
О жалкая свалка, глухое кладбище кораблей!

В душе твоей громоздятся все сраженья и взлеты.
Крылатые стаи песен срывались с души твоей.

Душа твоя вобрала всё и вся, словно дали,
словно море и время. И вот — кораблем на дно!

Радостным было время осады и поцелуев,
оторопи, втекавшей как свет маяка в окно.

Жадность лоцмана, ярость ослепшего водолаза,
мутный любовный хмель, и вот — кораблем на дно!

Туманное мое детство, крылатое сердце-подранок,
блуждающий следопыт, и вот — кораблем на дно!

Нас опоясала боль и обнимало желанье,
а печаль сокрушала, и вот — кораблем на дно!

Мне было дано прорвать кольцо полночной осады,
переступить желанье и нежность было дано.

Женщина, плоть и оплот, возлюбленная утрата,
тебя я пою и тебя из влажной зову темноты.

Как чаша, ты приютила всю бескрайнюю нежность.
И забытjem бескрайним разбита, как чаша, ты.

Правила чернота одинокими островами,
и там в объятья свои любовь меня приняла.

Жажда была и голод, а ты, словно плод, манила,
битва была и гибель, а ты спасеньем была.

Женщина, как меня ты удержать сумела
в землях твоей души и на кресте твоих рук!

Томление по тебе было страшным и кратким,
взвихренным и хмельным, напряженным, как лук.

Погост поцелуев, не гаснет пламя в твоих могилах,
пылают грозди, и птицы их до сих пор клюют.

Память искусанных губ и зацелованной кожи,
память голодных зубов и тел, заплетенных в жгут.

Бешеное сближение жадности и надежды,
которое нас сплотило и навек развело.

Нежность робкой воды и муки шелестящей,
слово, которое губы тронуло — и ушло.

Такая судьба постигла парус моих желаний,
сорванный ветром судьбы, и вот — кораблем на дно!

Вся боль до капли иссякла, все волны меня накрыли.
Жалкая свалка, в которой все умиротворено.

А я еще пел, сиял, качаясь и спотыкаясь,
чтоб устоять на ногах, точно в качку матрос.

Все еще песнями цвел, все еще резал волны.
Жалкая свалка, колодец, полный горячих слез.

Бледный слепой водолаз, обездоленный лучник,
блуждающий следопыт — корабль, идущий на дно!

Пора отправляться в путь. Холодна и сурова
ночь, в которой отныне мне жить и днем суждено.

Зреют стылые звезды. Черных птиц караваны.
Шумный морской кушак берег стянул, шурша.

А я покинут, как пристань в предрассветную пору.
И только тень на ладони раскручивается не спеша.

Прочь от всего на свете. Прочь от всего на свете.

Пора собираться в путь, покинутая душа!

ИЗ КНИГИ

«ВОСТОРЖЕННЫЙ ПРАЩНИК»

(1933)

✻ ✻ ✻

Камни улетают из моей пращи
прямо в ночь цвета вороненой стали.

Не долетают и падают снова на землю —
оттуда, где мреет черное пламя созвездий.
Я — и глухая стена, и хлещущий стену вселенский
пронзительный ветер.
Перетекаю в смерть, словно вопль, перетекающий в эхо.

Тянусь за камнями я, отрешенный, — туда,
где существует лишь ночь, назначенье и крест моей
жажды.
Из сердцевины моей рвется сквозь зубы сдавленный стон.
Я лежу ничком перед глыбой стены, исхлестанной
ветром.

Я хочу превозмочь этот шаг,
переступить через собственный след;
я хочу расплескать эти звездные чаши огня
и проникнуть по ту и по эту сторону жизни,
в твердь темноты, в пустоту, в эту дальнюю даль.
Я хочу порвать свои цепи, подняться над ними,
взмыть над стынувшим страхом по вертикали полета, —
потому-то я и мечу эти камни в черную ночь,
стою один на безлюдной вершине,
одиноким, как первый мертвец на земле,
бросая каменный вызов вороненой темени неба,
глядящего в душу всей своей ширью, как море — на
берег.

Вот оно, сердце мое,
во льду холодной слезы, в тепле струящейся крови.

Это оно, словно праща, посылает камень за камнем,
оповещая полночь о том, что я существую.

В нем мглятся туманы неясных знамений,
холощенные грезы, надеженные по капле,
побежденная ярость и укрощенный прибой.

Знайте: я стражду нечеловеческой болью.

Знайте: боль моя больше, чем вся моя жизнь.

Это она раскрутила пращу, посылая тяжелые камни
прямо в лицо врагине моей — вороненой ночи.

Я должен пробиться сквозь эту сплошную стену.

Я должен. Кричу и взываю. Рыдаю. Пытаюсь. Я должен.
Как я несчастен. Как немощен я. И все же — я должен.
Я должен. Стеной — необъятная ночь.

Но свищет моя праща. Я существую. Поэтому — должен.

Звезду за звездой разобьют мои камни. Так надо.

Моя боль — это и есть моя сила. Поэтому — должен.

Я прорублю себе дверь. И пройду сквозь нее.

Долетят мои камни. Должны долететь, потому что так
надо.

Я жажду. Горю и горюю. От жажды и горя — пою.

Мой голос, волна древней крови, взлетает и тает.

Совет и раскрутит опять ожерелье испуганных звезд.

Надуется парусом в струях небесного ветра.

Звезды, четки печали, не я вас перебираю.

Это не я разметал ожерелье созвездий.

Меч мой крушит, потому что отбилсЯ от рук.

Звездное знаменье ночи, грядущей неотвратимо.

Это я, но я прячу свой голос, чтоб скрыть свою сущность.

Веет ветер, сплетенный из воплей, озноба и плача.

Горькая жажда, которая рядом с глотком.

Непобедимый прибой, несущий на рифы смерти.

Потому полыхает душа у меня и свищет тугая праща.

Бисер пота и дрожи распят на кресте переносья.

Не подведите, верные руки, жадные руки!

Вот она, полночь-врагиня. Душа моя стонет и жаждет.

Вот они, бледные звезды в личине загадки.

Вот моя жажда — она причитает уже над моей немотой.

Вот они — ярые воды, которым поить мою ярость.

Рев водопада, который вселит в меня силу!

И тугая праща захлестнувшейся намертво жажды
посылает в безбрежную полночь камень за камнем.

Туда, в эту даль, за пределы, за гребень стены.
Я должен пройти сквозь молнии света и мрака.
Я должен себя отыскать. Я кричу. И рыдаю. И жажду.
Стражду и жажду. И свищет моя боевая праща.
Я путник, который спешит, хоть и знает: не будет
возврата.
Я пращник, пращой сокрушающий чрево беременной
ночи.
Летят вдохновенные камни, и полночь сейчас разрешится.
Смерч и стрела, камень, клинок и таран.
Кричу. И страдаю. И жажду. И свищет праща в моей
длани,
посылая камень за камнем в созвездья, дрожащие в небе
от страха.

Вот он, угасший мой голос. Мой дух побежденный.
Тщетная ярость. Разбитая вдребезги жажда.
Падают наземь камни мои, меня же увеча.
Вот оно — белое пламя, которое вспыхнет и гаснет.
Влажные звезды — отрешенные гордые звезды.
Вот они, камни, взмывшие в небо по воле моей
разъяренной руки.
И неприступная ночь, швырнувшая мне их обратно.

Как я несчастен. Как немощен я. И все-таки — жажду.
Жажду, и стражду, и падаю в прах, исхлестанный ветром.
Знайτε: я стражду нечеловеческой болью.
Знайτε: боль моя больше, чем вся эта ночь.
Это она раскрутила пращу, посылая отчаянно камни
в ночь, в которой кишат и блуждают холодные звезды.

ИЗ КНИГИ
«МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО — ЗЕМЛЯ. I»
(1933)

СКЛОННОСТЬ

От веры в астрологию, от атавизма мрачных привычек,
которые хочешь не хочешь, а вечно носишь с собой,
осталась во мне невнятная склонность, горящий
привкус.

От давних примет, разговоров — истертых, протертых,
как ветхое кресло, от слов, по-холопски исправных,
избитых, забитых, густеющих, словно сметана,
от мертвых недель и от спертго воздуха в наших
жилищах.

Кто может похвастать таким же твердым терпением?
Я втиснут в толстую кожу здравого смысла,
сдавившую грудь змеиными кольцами благоразумья, —
и все мои детища порождены в упрямом боренье.
Ах, я же могу единым глотком коньяка распротиться
с этим вечером, избранным из череды вечеров.

Я населен живым веществом заурядного цвета —
молчаливым, как старая мать, неподвижным,
словно тень деревенской часовни и прах под могильной
плитой.

Я до края наполнен чуткой колодезной влагой,
дремотной водой, опочившей в скорбной готовности
слышать.

В гитарной моей сердцевине уснул древний ветер —
сухой и певучий, недвижимый и неколебимый,
своим звонким дымом он насыщает мое дыханье —
первооснова покоя, живинка жидкого масла:
угрюмая птица неусыпно стережет мой мозг,
а в моем клинке обитает бессменный ангел.

ПРИЗРАК НА БОРТУ ГРУЗОВОГО СУДНА

Даль, укрытая маревом трубного дыма,
соль в ритуальных повторях бурунного плеска,
звуки и запахи ветхого судна:
телющих досок, проржавленной стали,
старых машин, исходящих лязгом и визгом.
Устало толкая корму, завывая по борту,
вгрызаются в море они, и грызет их отчаянье, гложет,
и горькие волны вгрызаются в горькие волны,
и движется старое судно по старому морю.

Угрюмые трюмы, туннели душных потемок,
куда проникает лишь изредка солнечный свет
в компании грузчиков...
Груды мешков — владения мрачного бога,
они громоздятся, безглазые серые твари,
топорщатся серые уши, вздыхают
почтенные чрева с отборной пшеницей и копррой —
как животы у беременных женщин, одетых
в серые рубища и терпеливо
ждущих чего-то в тягостном сумраке кинотеатра.

Внезапно вскипает вода за бортом: волны топчут,
будто проносится призрачный конь
и бьют в соленую воду копыта.
И снова топот захлебывается волной.
И в каютах тогда остается одно только время:
недвижное, внятное, словно большая беда.
И к пряному запаху преющей ткани и кожи,
оливок, и лука, и масла примешан
странный запах кого-то, кто прячется в темных углах
корабля:

безымянного духа, который
скользит сквозняком по ступенькам,
слоняется по коридорам, по кубрикам и отовсюду
напрягает свое незримое зренье.

И, пристально глядя глазами, лишенными цвета,
проносит бесплотное тело, лишенное тени,
и звуки морщат его, а вещи пронзают навывлет,
и пыльные стулья лоснятся в его прозрачной утробе.
Кто этот призрак, который призрачнее привиденья?
Чьи шаги воздушны, словно полночный шорох муки,

а голос озвучен только скрипением досок?
В каждой вещи живет его плоть, и блуждают,
и плывут эти вещи внутри корабля кораблями,
начиненными смутным и зыбким его естеством:
платяные шкафы, зеленые скатерти, блики
на полу, потолке, занавесках —
все вокруг испытало бесплотное прикосновенье
этих медленных рук, которые старят, как время.

Оступаясь, скользя, этот затхлый ветер вползает по трапу
на корму, под удары соленого ветра;
опираясь на поручни, смотрит на горькое море.
Но оно неподвластно невидимому привиденью,
и, отринув его ворожбу, пляшут пенные волны
вольной пляской живого огня и играющей крови,
и бурлят буруны, единаясь и воссоединяясь.
Неизбывные, неистощимые волны, вне времени и
повторенья —
студеное месиво зелени, плотно-упругая сила, —
скребут кораблю черное брюхо, смывают
коросту наростов и гладят стальные морщины,
грызут скорлупу корабельной обшивки,
и реют долгие стяги бушующей пены,
и блещут брызги зубами сверкающей соли.

А призрак смотрит на море невидимым взглядом:
круговращение солнца, стоны и кашель машины, и
птица —
уравнение простора округло и одиноко,
и он возвращается в черное чрево по трапу,
падает в мертвое время, на мертвые доски
и рыщет потом по каютам и по коридорам
в стиснутом медленном воздухе, в скорбном затворе.

ИЗ КНИГИ
«МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО — ЗЕМЛЯ. II»
(1935)

WALKING AROUND *

Так случилось — я устал быть человеком.
Я захожу в ателье и в кино
скучный и недоступный, как тряпочный лебедь,
который плавает в луже изначальной воды и пепла.

Я рыдаю навзрыд от парикмахерских ароматов.
Я хочу одного — не видеть ни аптек, ни учреждений,
ни парков, ни магазинов, ни лифтов.

Так случилось — у меня устали ноги и ногти,
и моя кожа и моя тень устали.
Так случилось — я устал быть человеком.
И все же я был бы рад
до смерти напугать нотариуса сорванной лилией
или прихлопнуть монашку своим собственным ухом.
Было бы просто прекрасно
бродить по улицам, размахивая зеленым ножом,
и кричать, кричать, пока не замерзнешь.

Я не хочу прозябать корневищем в потемках,
которое дрожит, и тянется, и дергается во сне,
ползет вниз, в мокрые недра земли,
все впитывая, обо всем думая и обедая каждый день.

Зачем мне столько несчастий!
Я не хочу больше быть могилой и корнем,
подземельем, набитым мертвецами подвалом.
Не хочу темнеть от тоски, угорать от горя.

Поэтому день понедельник пылает, как озеро нефти,
завидев, как я прохожу с лицом узника из одиночки,
и воет — в движении своем, словно раненое колесо,
и к ночи стремится, пульсируя, будто горячая кровь.

К каким-то углам он толкает меня и к пропитанным
сыростью зданьям,
к больницам, где кости торчат из окна,
к каким-то сапожным, которые уксусом пахнут,
и к улицам жутким, как щели.

Есть птицы с оперением желтым, как сера, грязная
требуха
висит на дверях тех домов, которые я ненавижу,
есть челюсти, зубы вставные, забытые где-то в кафе,
есть зеркала,
которым бы плакать пора от страха и срама,
и всюду отравы, и зонтики, и пуповины.

Я прохожу, спокойный, глазастый, обутый в ботинки.
Гневаюсь и тут же забываю про свой гнев.
Я иду через конторы, и ортопедические кабинеты,
и дворы, где на проволоке просыхает белье:
рубашки, кальсоны и полотенца, и все они плачут
медленными мутными слезами.

ОДА ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКЕ

Если бы я мог заплакать от страха в пустом, одиноком
доме,
если бы я мог вырвать свои глаза и проглотить их,
я бы это сделал во имя твоего голоса — траурного
апельсина,
во имя твоей поэзии, которая с криком вырывается из
души.

Ибо во имя твое красят в голубой цвет больницы,
и строятся школы, и приморские улицы,
и отрастают перья у раненых ангелов,
и чешуей покрываются брачующиеся рыбы,
и ежи возносятся на небо:
во имя твое портняжные мастерские с их черными
ширмами
наполняются кровью и ложками,
во имя твое надевают красные пояса, и убивают любимых
поцелуями,
и наряжаются в белое.

Когда ты летишь, одетый в персиковую нежность,
когда ты смеешься смехом риса, взметенного ураганом,
когда перед тем, как запеть, ты весь вострепнешься,
вздрагнут губы, артерии, пальцы, —
я готов умереть во имя твое,
я готов умереть во имя багряных озер,
на которых ты живешь посередине осени
вместе с павшим конем и окровавленным богом;
я готов умереть ради кладбищ,
они ночью среди затопленных колоколов
текут со своими водами и могилами,
словно реки из пепла и праха,
реки переполненные, как госпитали
с ранеными солдатами, которых внезапно
воды смерти уносят вместе с надгробьями,
засохшими венками и погребальными маслами;
я готов умереть, лишь бы увидеть тебя ночью,
когда ты стоишь и плачешь,
глядя, как мимо плывут тонущие кресты;
перед рекой мертвецов ты плачешь,
безудержно плачешь израненным сердцем,
плачешь плачем, и глаза твои переполнены
слезами, слезами, слезами.

Если бы я мог ночью, затерянный в одиночестве,
собрать забвение, и сумрак, и дым
над поездами и пароходами
в черную воронку,
всасывающую пенел,
я бы сделал это ради того дерева, в котором ты ветвишься,
ради золотистых вод,
которые гнездятся в тебе,
ради вьюнка, обвившего твои кости,
который рассказывает тебе тайны ночи.

Города, пропитанные запахом мокрых луковиц,
ждут, когда ты пронесешь свою хриплую песню,
и молчаливые корабли преследуют тебя,
и зеленые ласточки вьют гнезда в твоих волосах,
и, кроме того, улитки и недели,
мачты, свернутые в клубок, и вишневые деревца
приходят в движение, когда появляются
твоя бледная голова с пятнадцатью глазами
и твой рот цвета запекшейся крови.



Если бы я мог наполнить сажей административные
здания

и, рыдая, сбросить часы с пьедесталов,
я бы это сделал, чтобы увидеть, как в твоём доме
возникает лето с искусанными губами,
возникают люди в одежде смертников,
и земли, исполненные печального величья,
и мертвые плуги, и полевые маки,
и всадники, и могильщики,
и планеты, и карты, залитые кровью,
и водолазы, покрытые пеплом,
и убийцы в масках, волокущие за собою
девушек, пронзенных большими ножами.
Возникают корни, больницы, артерии,
муравьи и колодцы,
возникает ночь и приносит постель,
где среди пауков умирает одинокий гусар,
возникает роза из ненависти и шипов,
возникает желтеющая пристань,
возникает ветреный день и ребенок,
возникаю я, Оливерию, Нора *,
Висенте Алейсандре, Делиа,
Марука, Мальва Марина, Мария Луиса и Ларко,
Ла Рубиа, Рафаэль Угарте,
Котапос, Рафаэль Альберти,
Карлос, Бебе, Маноло Альтолагирре,
Молинари,
Росалес, Конча Мендес
и другие, имена которых я позабыл.
Приди, я тебя увенчаю, о юноша, полный здоровья,
как черная молния, вечно свободный.
Сегодня, когда никого не осталось на скалах,
давай побеседуем просто о жизни твоей и моей.
Для чего они, наши стихи, если не для росы?

Для чего они, наши стихи, если не для ночи вот этой,
когда острый кинжал нас пронзает, и не для этого дня,
не для сумерек этих и не для угла,
в котором готовится к смерти измученный дух человека?

И особенно ночью,
когда на небе множество звезд,
и все они — в темной реке,
текущей под окнами дома,
в котором живут бедняки.

Кто-то умер у них, или, быть может,
они потеряли работу в конторах,
в лифтах, в больницах,
на шахтах;
повсюду изранены люди,
повсюду надежды и плач,
пока звезды плывут в бесконечной реке,
в окнах плач,
и пороги изъедены плачем,
простыни и подушки пропитаны плачем,
плач накатывается, словно волна, и захлестывает
половинки.

Федерико!
Ты видишь мир, улицы,
уксус
расставанья на пыльных перронах,

когда последние клубы дыма
уносятся вдаль,
туда, где нет ничего —
только камни, разлуки и рельсы.

Повсюду есть толпы людей, задающих вопросы,
есть кровавый слепец, и отчаявшийся, и безумец,
есть дерево слез и колючек
и разбойник, что зависть волочит на темных плечах.

Такова она, жизнь, Федерико, и это дары,
которые может тебе предложить моя дружба,
дружба мужественного и печального мужчины;
ты сам уже многое в жизни постиг
и многое постепенно постигнешь.

**ИЗ КНИГИ
«ТРЕТЬЕ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО»
(1947)**

ВОССОЕДИНЕНИЕ ПОД НОВЫМИ ЗНАМЕНАМИ

Кто же солгал? Стебель лилии —
черный, сломанный, неизъяснимый:
сплошная рана и мрачный высверк,
сплошь подчиненный закону волны за волной,
зыбучий склеп янтаря,
горючие капли созревшего колоса.
На этом я основал свое сердце:
я вслушивался в причитания соли
и в полночь пускал свои корни,
постигая всю горечь земли.
И все вокруг для меня было только ночь или молния,
ибо таинственный воск наполнил мой череп
и пеплом усыпал мой след.

Ради кого я отыскивал эту холодную дрожь?
Ради смерти?
Сколько же я потерял в бесприютных потемках,
где никто не услышал меня и не понял?
Нет,
ныне — время. Ступайте
прочь, кровавые тени
и ледовитые звезды. Пропустите ко мне человека,
исчезни, черная тень, у меня из-под ног.

У меня, как у всех, — человечьи израненные ладони;
как у всех, у меня багряная чаша
и то же яростное удивленье:
однажды
могучий пшеничный колос,
сведенный дрожью
человечьих снов,
пророс в моей беспощадной ночи

и вывел меня из путаницы волчьих следов
на след человека.

Напряженно прямой, не ищу я отныне
приюта в изломах печали, а выявляю
первооснову пчелы, сияющий хлеб
сынов человеческих: тайно готовится синь
взглянуть в лицо колосьям зреющей крови.
Знаешь ли ты свое место на лепестке розы?
И где обитают твои ресницы дрожащей звезды?
Что же, или ты позабыл,
как сведенные судорогой пальцы
пытаются уцепиться за берег?
Мир тебе, мрачное солнце!
Мир вам, слепые глаза!

А для тебя найдется палящая пядь дороги;
вспомни: на свете есть немудреные камни
и тишина застенок, в которых мерцает звезда,
звезда безумья, с которой содрана кожа, звезда,
заглянувшая в ад.

Объединимся перед лицом скорби!
Слышите? Бьет звездный час
земли и ее аромата; глядите
на это лицо, рожденное из разъедающей соли,
на этот рот, улыбнувшийся сквозь нестерпимое горе,
на сердце, приветствующее вас
вышедшими из берегов золотыми и непреклонными
лепестками.

НЕКОТОРЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

Вы спросите: «А где сирень?
И почему в его стихах нет маков?
Где дождь — он то и дело барабанил
по его словам, переполняя их
прорехами и птахами?»

Я расскажу вам, что со мною происходит.

Я жил в Мадриде — в квартале,
где соседями моими были
колокола, часы, деревья.

Вдали виднелось
сухое лицо Кастилии,
похожее на кожаное море.

Мой дом прозвали
домом цветов: здесь в каждом уголке
взрывалась герань — то был
красивый дом, где было вдосталь
собак и ребятни.

Рауль, ты помнишь?
Ты помнишь, Рафаэль?

А ты,
в земле лежащий Федерико *, помнишь
мой дом с балконами, где свет июня
цветами набивал твой рот?

Мой брат!..

Повсюду шум и гам, соль рынков,
нагроможденье трепетного хлеба, —
рынки моего квартала Аргуельес со статуей,
похожей на бледную чернильницу
среди развалов рыбы,
масло ложками,
глухое биенье
ног и рук переполняло улицы,
все мерилось на метры, литры,
острый запах жизни,
лоскутья кровель с холодным солнцем,
нанизанным на шпиль,
картофель цвета нежнейшей слоновой кости
и помидоры — до горизонта.

Но однажды утром все запылало,
однажды утром стали
выбиваться из-под земли костры
и пожирать живое,
и с той поры — огонь,
и с той поры — порох,
с той поры — кровь.

Громилы с самолетами и марокканцами,
громилы с перстнями и герцогинями,
громилы с черными священниками,
благословляющими их,
летели по небу, чтоб убивать детей,
и кровь детей по улицам текла,
как кровь детей.

Шакалы, которых бы отверг шакал,
камни, которые бы проклял чертополох,
гадюки, которых искушали бы гадюки!

Я видел, как кровь Испании
восстала против вас,
чтоб утопить в большом приливе
гордости и лезвий!

Иуды-генералы,
вглядитесь в мой мертвый дом,
в развалины Испании, —
смотрите, как из-под развалин
прорастают не цветы —
расплавленный металл,
из каждой испанской щели
прорастает Испания,
из каждого убитого ребенка
прорастает глазастая винтовка,
из каждого убийства прорастают пули, —
и однажды они разыщут ваше сердце!

Вы спросите: «А где в его стихах
слова о сновиденьях, о листве
и о больших вулканах его отчизны?»

Смотрите: кровь течет по мостовым.
Смотрите:
кровь течет по мостовым.
Смотрите: кровь течет
по мостовым!

ПРИБЫТИЕ В МАДРИД ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЫ *

Однажды утром в студеный месяц,
в предсмертный месяц, запятнанный грязью и копотью,
в нестигаемый месяц, в печальный месяц осады и неудач,
когда за мокрыми стеклами моего дома были
марокканские шакалы *,
чья ружья и зубы сочились кровью, — в ту пору,
когда нашу надежду затмили пороховые кошмары, когда
мы считали,

что в мире существуют лишь плотоядные чудища и
фурии, —
в эту пору, прорвав иней студеного мадридского месяца,
в тумане зари
я увидел, как возникают ясные уверенные бойцы
этой худой и суровой, зрелой и пламенной бригады.
Это была скорбная пора, когда разлука негаснущим углем
жгла женщин,
когда испанская смерть, более едкая и колючая, чем
любая смерть,
затопила поля, которые до этого венчала пшеница.
На мостовых выплеснутая из человека кровь смешивалась
с водой, вытекавшей из разрушенного сердца домов,
кости растерзанных детей, душераздирающее
траурное молчание матерей, навечно погасшие глаза
беззащитных существ
были болью и потерей, были заплеванным садом,
навечно загубленной верой, убитым цветком.
Товарищи,
тогда-то
я вас и увидел,
мои глаза до сих пор светятся гордостью,
потому что в то туманное утро я увидел, как вы
появились на чистом лице Кастилии,
непреклонные и молчаливые,
словно колокола перед зарей,
торжественные, голубоглазые, вы пришли из дальних
далей,
пришли из ваших закоулков, из ваших затерянных стран,
из ваших грез,
перепачканные испепеленной нежностью, сжимая
винтовки,
вы пришли защищать испанский город, где осажденная
свобода
могла пасть, умереть, истерзанная хищниками.
Братья, пусть с этого дня
ваша чистота, ваша сила, история вашей славы
станет известной мальчику и мужчине, женщине и
старiku,
достигнет всех, кто изверился, спустится в шахты,
изъеденные серным воздухом,
взбежит по бесчисленным ступеням рабства,
чтобы все звезды, все колосья Кастилии и мира
начертали ваше имя, вашу жестокую битву,
вашу победу, кряжистую, земную, как красный дуб.

Потому что вашим самопожертвованием вы сумели
возродить
умершую честь, угасшую душу, доверие к земле —
ваша щедрость, благородство, ваши мертвые,
словно суровые окровавленные скалы, образовали ущелье,
по которому льется мощный поток, а над ним выются
голуби надежды и стали.

АЛЬМЕРИЯ *

Блюдо для епископа, мелко нарубленная горькая пища,
блюдо с железным крошевом, пеплом, слезами,
мрачное блюдо из рыданий и рухнувших стен,
блюдо для епископа — дымящаяся кровь Альмерии.

Блюдо для банкира, блюдо со щечками
улыбчивых малышей Юга, блюдо
с канонадой, безумной водой, руинами, ужасом,
блюдо с расколотыми осями и растоптанными головами,
черное блюдо — дымящаяся кровь Альмерии.

По утрам — каждое мутное утро вашей жизни — оно
будет дымиться, пылать перед вами на вашем столе;
вы брезгливо отодвинете его холеной рукой,
чтобы не видеть его, не переваривать в сотый раз,
вы брезгливо передвинете его к хлебу и винограду,
это блюдо с молчаливою кровью,
которая будет дымиться на вашем столе каждое утро.

Блюдо для полковника и жены полковника
на гарнизонном празднике, на каждом празднике,
на брани и плевках, на красном вине рассвета,
чтобы вы видели его, остывающее, дрожащее в просторах
земли.

Вот оно, блюдо для всех вас — здешних и тамошних
богачей,
для послов, министров, злобствующих сотрапезников,
для дам, сидящих в изящных позах за чаем, —
блюдо в трещинах, плещущее бедняцкою кровью, —
на каждый день, неделю, навеки —
блюдо, где кровь Альмерии будет дымиться
перед вами — всегда.

ПЕСНЬ ЛЮБВИ СТАЛИНГРАДУ *

Пахарь, спавший в ночи, пробудился и тянет руку свою в потемки — спрашивает зарю:
«Утро, юное солнце, свет спешащего утра, все ли еще под силу самым чистым рукам драться за гордый замок славы? Скажи, заря, все ли еще железо грудь тебе решетит? А человек — стоит там, где должен стоять? А молния — не умерла?» Спрашивает у зари пахарь: «Скажи, заря, разве земля не слышит, как струится во мглу кровь багряных героев — в необъятную мглу полуночного простора? Все ли еще небеса опираются на деревья? Все ли еще грохочут взрывы над Сталинградом?»

И на крутых волнах — в море хмуром — моряк, вглядываясь во тьму, среди влажных созвездий красную ищет звезду дальнего огнеграда и ощущает сердцем, как она обжигает, — он хотел бы потрогать гордую эту звезду, скорбной этой звезде слезы свои отдать.

Люди и волны кричат городу, алой звезде:
«Город, сомкни лучи, закрой стальные врата и оцетинься славным окровавленным лавром, пусть за планетой штыков, перед грозным сияньем твоих воспаленных глаз съежится в страхе ночь».

Вспомнив Мадрид, испанец молит: «Брат, не сдавайся, не сдавайся, столица, слышишь, город, держись!»
Из земли проступает вся пролитая кровь Испании — проступает во имя Испании снова.

Спрашивает испанец, привставая с земли возле стены расстрелов: жив ли еще Сталинград?
А в глубине застенков черных глаз вереница стены камер буравит именем славным твоим.
Кровь героев твоих Испанию пробуждает: ты душу ей отдал в год, когда она порождала своих героев, как ты сегодня их порождаешь.
Испания знает, что значит быть одинокой, — лишь ты поймешь ее, Сталинград, бьющийся в одиночку.
Испания рыла ногтями твердую землю свою, когда Париж был красив, как никогда прежде.
С испанского дерева кровь текла ручьями, а Лондон

(как поведал об этом Педро Гарфиас *, поэт)
ухаживал за лебедями и подстригал газоны.

Этот удел сегодня выпал девушке стойкой —
стужа и одиночество осаждают Россию.

Тысячи гаубиц рвут сердце твое на куски,
жадной стайей к тебе сползаются скорпионы,
чтоб ядовито ужалить сердце твое, Сталинград.

Пляшет Нью-Йорк, в раздумье Лондон, а я
чертыхаюсь, кричу — сердце устало терпеть,
и ваши сердца устали
терпеть, уже мы устали жить, дышать в этом мире,
который своих героев оставил одних умирать.

Вы покинули их? Что же — придут и за вами!
Вы покинули их?

Вы хотите, чтоб жизнь
скрылась во мглу могил, чтобы улыбку людей
перечеркнула навеки смертная мука и грязь?
Почему вы молчите?

Ждете, пока на Востоке станет побольше мертвых?

Пока они не закроют полностью ваше небо?

Но тогда и для вас останется только ад.

Миру осточертели маленькие геройства,
когда на Мадагаскаре полчище генералов
храбро уничтожает пятьдесят пять обезьян.

Миру осточертели осенние ассамблеи,
где председателем зонтик.

Сталинград, мы не можем к стенам твоим пробиться,
город, мы далеко!

Мы — это мексиканцы, арауканы, мы —
патагонцы, гуарани *,
уругвайцы, чилийцы —
нас миллионы людей.

К счастью, в семье людей есть отважный сородич,
но до сих пор, отец, мы не пришли на помощь.
Огненный город, держись, пока мы сможем прийти,
тонущие индейцы, чтобы на стенах твоих
запечатлеть поцелуй сынов, спешивших к тебе.

Пусть еще не открыли второго фронта, но ты
не сдашься, хотя железо и пламя будут тебя
терзать и ночью и днем.

Хотя ты и умираешь, ты не умрешь, Сталинград!

Люди твои не знают смерти: они продолжают
драться там, где упали замертво, — это будет,
пока победа не дастся в руки тебе, Сталинград.
Пусть эти руки устали; изранены и мертвы, —
новые алые руки, когда эти руки падут,
посеют на пашнях мира кости твоих героев,
чтобы твое зерно покрыло всходами землю.

НОВАЯ ПЕСНЬ ЛЮБВИ СТАЛИНГРАДУ

Я говорил о времени и небе,
о яблоке, о грусти листопада,
о трауре утрат, дожде и хлебе,
но эта песнь — о стали Сталинграда.

Бывало, луч моей любви влюбленной
невеста берегла с фатою рядом.
Но эта песнь — о мести, окрыленной
и освященной здесь, под Сталинградом.

Я мям в ладонях шелк и шорох ночи,
в закатный сумрак погружаясь взглядом.
Но в этот миг, когда заря клокочет,
я рассветаю сам со Сталинградом.

Пусть юный старец, ноющий уныло
о лебедях и о лазурной глади,
разгладит лоб и вновь воспрянет силой,
услышав эту песнь о Сталинграде.

Мой стих — не выкормыш чернильной жижи,
не хлюпик, глохнувший при канонаде.
Он этой жалкой долей не унижен:
я был рожден, чтоб петь о Сталинграде.

Он плакал о твоих бессмертных мертвых,
с тобою, город, взламывал осаду,
сверкая на штыках и пулеметах.
Набатом звал на помощь Сталинграду.

И вот повсюду бой священный начат:
в песках американцы гонят гада,

гвоздят гремучую змею... И значит,
не одинока крепость Сталинграда.

И Франция, оправившись от плача,
под «Марсельезу» строит баррикады,
сжимая знамя ярости... И значит,
не одинока крепость Сталинграда.

Пикируя из темноты горячей,
когтями рвет коричневую падаль
крылатый лев Британии... И значит,
не одинока крепость Сталинграда.

Чернеют в ней обугленные трубы,
но здесь и камень — недругу преграда,
уже горами громоздятся трупы
врагов у врат стального Сталинграда.

И перебиты лапы супостата,
чудовища, не знавшего пощады.
Торчат в сугробах сапоги, когда-то
грозившие пройти по Сталинграду.

Твой взор все так же ясен, словно небо.
Непоколебима сталь твоей громады,
замешенная на осьмушке хлеба.
О грань штыка, граница Сталинграда!

Твоя отчизна — это лавр и молот.
И видит вождь, как в реве канонады
твой лютый враг вмерзает в лютый холод
и в снег, залитый кровью Сталинграда.

Уже твои сыны тебе добыли
победу — наивысшую награду
на грудь земли, простреленной навывлет,
на грудь красноармейцу — Сталинграду.

Я знаю, что воспрянули недаром
сердца в чаду коричневого ада:
взошло созвездье красных командармов
на грозном небосводе Сталинграда.

И суждено надежде распусться.
раскрывшись, словно роза в недрах сада:

написана великая страница
штыками и рассветом Сталинграда.

И обелиск из мрамора и стали
встает над каждым рвом и баррикадой,
над каждым алтарем, где умирали
твои сыны, твердыня Сталинграда.

И свищет сталь, буравя и взрываясь,
сечет врага свинец кинжальным градом;
дрожит слеза, и закипает ярость
сегодня здесь, в твердыне Сталинграда.

И вьюга заметает вражьи кости,
обломки перемолотой армады.
Бегут, бегут непрошенные гости
от молнии разящей Сталинграда.

Они прошли под Триумфальной аркой
и Сену осквернили серным смрадом,
поганили Париж гортанным карком,
чтобы подохнуть здесь, под Сталинградом.

Они топтали Прагу сапогами
и шли по воплям и слезам парадом, —
но втоптаны теперь навеки сами
в сугробы, в чернозем под Сталинградом.

Они изгадили и замарали
античную голубизну Эллады,
но в час разгула верили едва ли,
что час расплаты ждет у Сталинграда.

И, растерзав Испанию, гарротой *
они сдавили горло серенаде;
испекли землю Дон-Кихота,
но сами стали пеплом в Сталинграде.

Голландию тюльпанов и каналов
они крушили бомбой и прикладом.
Но вот чернеют трупы каннибалов
в заснеженной степи под Сталинградом.

Они сожгли, злорадно завывая,
как хищники, почуявшие стадо,

лазурный лед Норвегии, не зная,
что скоро им скулить у Сталинграда.

Да здоровствует твой непокорный ветер,
который воспоют еще в балладах!

Да здоровствуют твои стальные дети
и правнуки стального Сталинграда!

Да здоровствуют бойцы и комиссары,
богатыри, которым нет преграды,
и солнце, в небе пышущее яро,
и лунный свет ночного Сталинграда!

И в час, когда навек замрет мой голос,
пускай осколок твоего снаряда
положат мне на гроб, а сверху — колос,
кровавый колос нивы Сталинграда.

И это будет памятник поэту,
которому иных наград не надо:
пусть я и не ковал твою победу,
но выковал острее клинка вот эту
стальную песнь во славу Сталинграда.

ПЕСНЬ БОЛИВАРУ *

Отче наш, вездесущий в ветре, в море, на суше —
всюду в наших обширных и безмолвных широтах!
В нашем жилище, отче, имя твое — повсюду:
словно сахар, его сахарный копит тростник,
от Боливара-олова исходит сиянье-Боливар,
над вулканом-Боливаром вьется Боливар-птица,
будь то картофель, селитра или неясный сумрак,
реки или пласты фосфорных минералов, —
все начало берет в жизни твоей погасшей,
ты завещал нам ручьи, колокола и равнины,
ты завещал нам хлеб — хлеб наш насущный, отче.

Яростный полководец, хрупкое тело твое
источает в просторах металлический свет:
снежные пальцы твои прорастают в горах,
в южных морях рыбак из воды извлекает
голос твой и улыбку, блещущие в сетях.

Розы какого цвета мы приносим тебе?
Красные розы, они словно твои походы.
Тронув твой пепел, в какой цвет окрасятся руки?
Красными станут руки, пепел потрогав твой.
Зернышко твоего мертвого сердца — какое?
Красного цвета зерно вечно живого сердца.

Вот почему хоровод рук тебя окружает:
рядом с моей рукой — другая, а с нею рядом —
новая (словно поток в темноте континента),
а за нею рука, о которой при жизни
ты ничего не знал, тянется вместе с нами,
чтобы крепко пожать руку твою, Боливар, —
это рука Теруэля, Мадрида, Харáмы и Эбро *,
рука из тюрем, из вихря, из испанских могил:
красная эта рука — дочь руки твоей красной.

Наш полководец, воин, всюду, где есть уста,
чтобы взывать к свободе, слух, чтоб о ней услышать,
всюду, где красный воин черные лбы рассекает,
где прорастают лавры, чтоб увенчать свободных,
где на новые флаги, словно россыпь рубинов,
проливается кровь нашей славной зари, —
всюду, воин Боливар, восходит твое лицо.

Снова в дыму и взрывах твой рождается меч.
Снова знамя твое вышито алой кровью.
Снова хотят злодеи вырыть твое зерно.
Снова сын человека смотрит смерти в лицо.

Но тень твоя, капитан, нас к надежде ведет,
лавры и свет твоих красных полков сияют
в твоих глазах, озаривших американскую ночь.
Зоркий твой взгляд скользит за горизонты морей,
оглядывает народы, их унижение и раны,
отыскивает пепелища обугленных городов,
снова звучит твой голос, снова разит рука,
войско твое знамена священные защищает,
снова в залитый кровью колокол бьет Свобода,
снова страшные крики предшествуют появлению
ясной зари в потеках человеческой крови.
Освободитель наш, ты подарил нам мир.
Так же, как мир и хлеб из крови твоей возникли,
наша юная кровь, которую ты нам дал,
мир и хлеб породит для наших будущих дней.



Я Боливара встретил бескрайним утром в Мадриде —
он был у всех на устах в славном Пятом полку *.
«Отче, скажи, ты есть? Нет тебя? Кто ты, отче?»
Поглядев на казармы Ла-Монтанья *, он молвил:
«Я пробуждаюсь раз в столетье вместе с народом».

**ИЗ КНИГИ
«ВСЕОБЩАЯ ПЕСНЬ»
(1950)**

ЛЮБОВЬ-АМЕРИКА

1400

Еще до париков и до камзолов
здесь были реки, жилистые реки,
здесь были кряжи — вытертые гребни,
где будто каменели снег и кондор,
здесь были топь и чаща, и до срока
ненареченный гром над мировой пампой.

Землей был человек, сосудом, веком
зыбучей грязи, глиною гончарной,
карибской * чашей, монолитом чибчей *,
кремнем арауканским, кубком инков *.
Лишь кровь и мякоть был он, но в эфес
хрустального и влажного оружия
врезались вещие инициалы
земли.

Никто потом
не смог их вспомнить: ветер
запамятовал их, похоронили
язык воды, и не найти ключей,
что затянулись тишью или кровью.

Жизнь не погибла, мой безгрешный брат.
Но дикой розой в чаще
пурпуровая капля затерялась,
и навсегда потух земной светильник.

Я здесь, чтоб рассказать о происшедшем.
От мирных буйволовох пастбищ
и до исполосованных песков
конца земли, в бурунах,
набухших антарктическим сияньем,
и в головокружительных проломах
венесуэльской мгlistой тишины —

я все искал тебя,
мой пращур, юный воин — медь и сумрак,
тебя, невестин цвет, тугая грива,
кайман-праматерь, горлинка литая.

Я, инка, вышедший из топей,
дотронулся до камня и спросил:
«Кто
ждет меня?» И пальцы опустились
на рукоять хрустального кинжала.
Но я шагнул под ахрасы * в цвету,
и свет был бархатист, как олененок.
а тень — как зеленеющее веко.
Мой край, не нареченный до поры,
тычинка юга, пурпурная пика, —
твой аромат в меня корнями врос
до осушенной чаши, до нежнейших
из слов, еще не сказанных тебе.

ВЕРШИНЫ МАЧУ-ПИКЧУ *

I

С облака на облако, с ветра на ветер
я пробирался по улицам, прорубленным в небе;
прощанья и встречи, медные монеты
осенних листьев, а следом — лето
колосьев, а выше — весна, словно любовь,
которая нас одаряет долгой луной.

(В то время я обживал времена озаренья
в безвремье тела: металл, обращенный
в безмолвие минералов,
кудель измочаленной ночи, волокна
жизни на пряслах невесты-отчизны.)

Меня ожидали увидеть в компании скрипок,
а я объявился с городом, погребенным
в камне, с миром, ввинченным в землю
спиралью, вонзенной под вздох глубины,
в которой цветут лепестки хриплой селитры —
и глубже: в самое золото рудного мира.
Словно клинок, облаченный в блеск метеора,

я погрузил свои нежные, ярые руки
в детородное чрево земного.

Я окунулся в глубинные воды,
я просочился каплей в безмолвие серы
и, словно слепец, на ощупь вернулся к жасмину
увядшей весны человека.

II

Весна, соитие цветов. Благословенное семя
отыщет приют даже в лоне скалы,
в складках песка и в алмазе.
Но человек упорно топчет цветы света,
проросшие в недрах морских истоков,
и буравит металл, трепещущий у него на ладони.
И вот среди ветоши, гари и дыма
вздыхает его душа:
кварцевая пыль, бессонные ночи, соль слезы в океане,
ледяные озера слез, — но ему и этого мало:
он добывает душу деньгами и злобой,
топит ее в болоте обыденных будней,
колючей проволокой скручивает ей руки.

Нет, не так: на большаке и в море,
в теснинах и в небе — кто бережет без ножа
сердце, словно кровавые маки?
Вымер угрюмый товар людоторговцев,
сколько же тысяч лет
звучит прозрачное слово росы,
взывая к извечным веткам, —
о сердце, изъязвленное чело, —
в пропасти осени!

Сколько раз на зимней улице, или
в автобусе, или на палубе корабля, бороздящего ночь,
или в минуту самого одинокого одиночества,
которое одолевает во время всеобщего пира,
я пытался под перезвон теней и колоколов
в самом логове людского наслажденья
отыскать подспудную, вечно живую жилу жизни,
которую раньше ощущал в камне, в молнии и поцелуе.

(Она животрепещет в желтых колосьях пшеничного поля,
в твердых, как груди зачавшей женщины, зернах,

вещая нежность живородящей плоти,
которая проливается семенем в снег слоновой кости,
и претворяет воду в прозрачную родину,
и заставляет звучать колокольной медью
все — от бесстрастного льда до теплой стремнины крови.)

Но я не нашел ничего, кроме вороха лиц и обличий,
суетливых, как поддельное золото, —
опавшая ветошь одежды, жухлые дети осеннего ветра,
на котором дрожит жалкое древо испуганных племен.
И не на что было мне опереться:
не было у меня под рукой
ни хляби, текучей, как влага волшебного родника,
ни тверди, надежной, как антрацит и хрусталь,
которые бы приняли и возвратили
тепло и холод моей ладони.
Кто же такой человек? В каком его слове,
в каком уголке его мира машин и музыки,
в каком из его железных жестов
живет неистребимая жизнь?

III

Жизнь человечья, словно початок маиса,
убывала, теряя зерна напрасных поступков,
мелких свершений, тщетных забот,
и не одна, а многое множество смертей
ожидало каждого: человек ежедневно
умирал маленькой смертью — прах, черви, светильник,
погасший в зловонной жиже предместья,
мелкая смерть на могучих крылах настигала его,
впиваясь клювом, как дротиком, в тело:
нож, приставленный к горлу, и голод —
вот ваш удел, дети доков, капитаны утлого плуга,
обитатели людных улиц, —
и каждый изнемогал в ожидании смерти,
трепетал от предчувствия гибели,
ежедневно припадая губами к ее черной чаше.

IV

Властная смерть, сколько раз ты меня призывала!
Словно соль, растворенная в океанской волне,
ты источала незримый запах

взлета на гребень и погруженья в пучину,
ты была словно сплав горного снега и ледяного ветра.

И я приник сердцем к острию стального клинка,
вник в теснины ветра, в провалы камня и хлеба,
в звездную пустыню предсмертного шага,
в сущность головокружительной спирали —
и все же, о смерть, безбрежное море,
ты не набег волны за волной,
а поступи ночного просветленья,
свод ясных итогов ночи.

Твое пришествие не спрячешь за пазуху,
тебя невозможно представить без багряных покровов,
без рассветных ковров осажденной тишины,
без погребенной в земле или в заоблачной выси
горькой отчизны слез.

Я не смог полюбить в человеке дерево,
несущее на плечах свою крошечную осень
(эту желтую смерть мириадов листьев),
полюбить лжесмерти и воскрешенья
вне земли и вне бездны;
я возжелал проплыть по руслу широкой жизни,
достичь самых излучистых устьев,
и когда от меня мало-помалу
стали отрекаться люди, запирая окна и двери,
чтобы мои родниковые руки не достучались,
не растревожили их изъязвленное небытие, —
я бросился в водоворот улиц, ручьев и рек,
городов, городищ, мастерских и спален,
сквозь пустыню пронес я соленую маску лица,
и в самой убогой хижине — без света и хлеба,
без свечи и камня, без тишины —
я пал, умирая собственной смертью.

V

Нет, не ты, свинцовая смерть в стальном оперенье,
ютилась в пустотелом теле питомца нищих каморок,
второпах вкушавшего хлеб свой насущный;
нет, это было нечто иное:
лепесток оборванной струны,
сердце, убоявшееся боя,
роса, не проступившая на лбу, — словом,

что-то, что не могло возродиться: осколок
маленькой смерти, лишенной земли и покоя,
ветхий костяк, треснувший колокол.
И тогда я сорвал пропитанные кровью бинты
и погрузил руки в боль, умертвившую смерть,
но не сумел отыскать в зияющей ране
ничего, кроме стылого ветра,
который врывается
в смутные бреши души.

VI

И тогда я взошел по тяжелым ступеням земли,
поднялся сквозь дикие заросли гиблой сельвы
к тебе, Мачу-Пикчу.
Горный город граненого камня,
последнее пристанище того,
кто не скрывал земное от земли.
Там, на колючем ветру, предо мной
качались каменные колыбели
молнии и человека.

Мачу-Пикчу, мать камня, родина кондора.

Забытый риф зари человека.
Первая мотыга, засыпанная первыми песками.

Вот оно, бывшее пристанище жизни:
здесь набухали початки маиса,
осыпаясь градом коричневых зерен.

Здесь золотое руно ламы
одевало вождей и жрецов,
героев, любовь и могилы.

Здесь ночью в пещере нога человека
ступала рядом с орлиной лапой,
а на рассвете
поступь грома топтала жидкий туман,
на ощупь искала землю и камень,
обретая их в потемках или в смерти.

Вот они, одежды и лица, —
в прозрачной памяти воды, звенящей в бездне,
в стене, запечатлевшей лицо человека,

который моими глазами глядел на земные светильни,
моими руками гладил древнюю древесину,
ныне же всё — посуда, одежды, слова,
хлеб и вино — испарилось
или сотлело в земле.

Остался лишь ветер, ласкающий лики усопших
пальцами апельсинных цветов, —
тысячелетье ветра, недели и месяцы
голубого ветра и металлических гор,
время, прошедшее поступью тихих стихий,
надрав до блеска грани пустынного камня.

VII

Погребенные в общей бездне тени одной могилы,
дети одной пучины — будто под стать
вашему величью
выпала вам настоящая смерть, —
и с высоты точеных утесов,
обагрённых шпилей
и громоздящихся акведуков
вы рухнули, словно в осень,
в пропасть общей кончины.
Уже не плачет по вас осиротевший ветер,
он позабыл о ваших ногах,
словно вылепленных из глины,
о ваших кувшинах, в которые сочилось небо,
вспоротое ножами молний.
Дождь и туман источили мощное древо,
и повалили его лесорубы-бури.

Рухнуло древо, уронило ветвистые руки
с высоты поднебесья на дно глубоких времен,
потому что исчезли из мира слабые пальцы,
тонкие нити цепких волокон,
которые дали ему жизнь, —
исчезли они, и рухнуло древо —
язык и обычай,
обличья ослепительного света.
Но осталось надгробие камня и слова:
словно сосуд, зажатый в окостеневших пальцах
мертвого племени,
вздывается к небу этот гранитный город —
крепостная стена, трепет каменных лепестков,

вечная роза, жилье и обитель,
горный риф орлиных селений.

И когда эти руки, цвета красной глины,
сами сделались глиной и закатились глаза,
населенные крепостными стенами и башнями,
когда человек исчез, растворился в провале столетий, —
осталась только воздетая к небу
четкость точеного камня,
горная обитель зари человечества,
высокогорный сосуд, до краев налитый безмолвьем,
живой камень, пришедший на смену бесчисленным
жизням.

VIII

Взойди со мной на эти кручи,
любовь Америки.
Поцелуй, как я, эти вещие камни.
Струистое серебро Урубамбы *,
пролей пыльцу в золотые чаши цветов!
Воспари, гранитная лиана,
гулкая гирлянда камня,
над безмолвьем черного ущелья.
Крылья земли окропи, капля жизни,
спизойди со снегов, одичалая влага,
лед и хрусталь, хрупкая пыль изумрудов,
развеянная всплесками ветра.

Любовь, любовь, с высот кремневых кражей
прозрей и возлюби слепого сына снега
на перекрестке крутолобой ночи
и розовоколенного рассвета.

Стеклянные космы водопада Вилькамаю,
вертикальные молнии струй,
вкрученные в сугробы пены,
когда ваша отвесная буря,
крича и круша, оглушает небо, —
какие слова говорите вы на ухо
развороченным недрам — и на каком языке?

Кто завладел этой молнией стужи,
приковал ее намертво к выси,
раздробив на ледяные слезы,

увенчав точеными клинками,
заморозил кровь в горячих жилах
воина, почившего на ложе,
обращенного внезапно в камень?

Кто разгадает тайную речь плененного блеска?
Мятежная молния, разве твой светоч
раньше не был населен словами?
Кто же коверкает ныне ледяное наречье,
черный язык, золотые хоругви,
глубинную речь, подспудные стоны
на устах у подземных твоих родников?

Кто косит ресницы цветов,
глядящих на землю живыми глазами?
Кто швыряет в объятия твоих водопадов
мертвые гроздья народившихся лоз,
чтобы они сотлели медленным тленьем
во мгле угля и руды обугленных недр?

Кто размыкает звенья на дереве уз?
Кто снова погребает погребенных?

Любовь, любовь, не преступай границы,
не обожествляй того, кто сгинул,
дай вызреть времени
во храме заколоченных колодцев
и на стремнине, стиснутой ущельем,
вдохни свистящий ветер высоты,
натянутый тонкими струнами звука
вдоль коридора Кордильер,
и, приняв горькое приветствие росы,
взойди, уступ за уступом, цветок за цветком, в чашу
по мертвой змее дороги.
Там, в обители камня и леса,
в сельве, осевшей пылью зеленой звезды,
трепещет Мánтур *, словно озеро жизни
или последняя степень безмолвья.

Приди ко мне, к моему рассвету,
к одиночеству, коронованному камнем.
Мертвое царство не вымерло.

По циферблату часов, словно черный корабль,
ползет кровожадная тень кондора.

IX

Звездный орлан, гроздь тумана.
Павший редут, ярость клинка.
Звездная лента, празднество хлеба.
Аккорд урагана, предвечное око.
Гранитная пыль, треугольник туники.
Светильня утеса, каменный хлеб.
Змеиные руды, железная роза.
Корабль погребенный, гранитный родник.
Лошадь луны, свечение камня.
Плита равноденствия, каменный дым.
Геометрия праха, гранитная книга.
Тесанный молнией айсберг.
Звездчатый коралл утонувшего времени.
Камень, размягченный касанием пальцев.
Крыша небес, покоренная крыльями.
Гроздь зеркал и гнездилище бури.
Вьюнок, поваливший тяжелые троны.
Царство окровавленных когтей.
Шквал, заточенный в сердце теснины,
Застывший водомет бирюзы.
Колокол на колокольне усопших.
Обруч, стянувший разлив укрощенного снега.
Гроза в каземате утесов.
Объятия пумы, кровожадные скалы.
Мрачная башня, ледовитое слово.
Полночь на цыпочках древних корней.
Свинцовая горlinka, прорубь тумана.
Дерево ночи, статуя грома.
Хребет Кордильер, океанская крыша.
Архитектура орлиного взлета.
Струна поднебесья, пчела высоты.
Кровавая кромка, рукотворное солнце.
Бульканье лавы, кварцевый луч.
Дракон Кордильер и чело амаранта.
Купол безмолвия, истоки отчизны.
Морская невеста, крона собора.
Чернокрылая вишня, пригоршня соли.
Снежные зубья, морозные грозы.
Камень угрозы, месяц-подрапок.
Косматая стужа, шторм урагана.
Длани, как лава, каскад полуночный.
Плеск серебра, нацеленность времени.

Х

Камень в камне, человек, куда он исчез?
Воздух в воздухе, человек, куда он исчез?
Время во времени, человек, куда он исчез?
Был ли ты обломком мелким
незавершенного человека, орла пустого,
который на улицах сегодня,
на тропинках средь листьев осени мертвой
терзает душу свою до самой смерти?
Бедные руки, ноги, бедная жизнь...
Дни света, который распался на нити
в тебе, словно ливень
на праздничных флажках-бандерильях.
Вложили ль они по лепесткам темную пищу
в рот пустой?

Голод, полил человека,
голод, тайный росток, корень для корчеванья,
голод, не твой ли чертеж скалистый
в очертаньях этих высоких башен?

Соль дорог, я тебя вопрошаю,
покажи мне ложку, позволь мне, архитектура,
обглаживать палочкой каменные рисунки,
подняться ввысь в пустоту по воздушным ступеням,
скрести недра твои, пока не найду человека.

Мачу-Пикчу, не ты ль положила
камень на камень, а в основание — лохмотья?
Каменный уголь на уголь, а в глубину — слезу?
Пламя в золото, а в него — трепетно-алую
крупную каплю крови?
Верни раба, погребенного тобою!
Вытряси из земли хлеб зачерствелый
бедняка, покажи мне лохмотья
раба в его оконце!

Поведай мне, как спал он при жизни,
скажи — был ли сон у него
хриплый, полуоткрытый, как черные дыры,
пробитые изнеможением в стене.

О стена, стена! Каждый каменный ярус
давил его сон, и он под камнем,
как под луной, засыпая, падал!
Америка древняя, утопленница невеста,

вот так твои пальцы
тянулись из чаши к пустому небу богов,
под брачными флагами света и украшений,
под гром барабанов, звон копий,
вот так, вот так твои пальцы
отринуты розой и поясом снега,
подняли склоны кровавые новых всходов
к полотну блестящей материи, к впадинам твердым,
вот так, вот так, Америка, похороненная, ты сохранила,
как орел, в горьких кишках своих голод.

XI

Сквозь блеск неясный и смутный,
сквозь каменный мрак дай мне протянуть руку,
пусть затрепещет во мне, как птица, плененная тысячу лет,
древнее сердце одинокого человека!
Дай позабыть мне сегодня счастье, широкое, словно море,
ведь человек шире, чем море со всеми его островами,
нужно упасть в него, как в колодец, и кверху со дна подняться
с ветвью скрытой воды и затонувших истин.
Дай мне забыть широкий камень, мощность пропорций,
огромность размеров, каменные соты,
квадраты и дай мне скользнуть рукою
по гипотенузе терпкой крови и кремнезема.
Когда словно подковой бурых надкрылий яростный кондор
бьет по вискам моим, налетая,
когда ураган хищных перьев взмывает темную пыль
с диагональных лестниц — я не вижу быстрой птицы,
не вижу слепого цикла ее когтей.
Я вижу древнего раба, уснувшего в поле,
я вижу одно тело, тысячу тел, мужчину, тысячу женщин
под черным шквалом, черных от ливня и ночи,
окаменевших тяжко, как статуи.
Хуан Каменотес, сын Виракочи *,
Хуан Глотающий Холод, сын звезды зеленой,
Хуан Босоногий, внук бирюзового камня,
поднимись родиться со мною, брат мой.

XII

Восстань, о брат мой, к рождению со мною.

Протяни мне руку из зоны глубокой
твоего распыленного страдания.
Ты не вернешься из каменной глыбы.
Не вернешься ты из веков подземных.
Не вернешься из веков подземных.
Орбиты глаз твоих не вернутся.
Взгляни на меня сквозь толщу земную.
землепашец, ткач, пастух молчаливый,
укротитель ставшей ручною ламы,
каменщик на лесах строительства,
водонос тех слез, что пролили Анды,
ювелир с истертой на пальцах кожей,
земледелец, за свой посев дрожащий,
гончар, погрязший в месиве глины,
несите все к чаше новой жизни
погребенные старые скорби ваши.
Шрамы и кровь вашу мне откройте,
скажите: меня за то покарали,
что в камне нет драгоценного блеска,
что земля не дает ни камней, ни зерен.
Покажите тот камень, где вы упали,
то дерево, где вас распяли когда-то,
искрами древних кремней осветите
старинные ваши лампы и плети,
которыми вас стегали по ранам,
покажите топоры с кровавым их блеском.
Говорить я устами вашими буду.
Протяните ко мне через всю землю
умолкшие ваши истлевшие губы,
всю долгую ночь говорите из бездны,
как будто к вам якорем я прикован,
обо всем расскажите мне — цепь за цепью,
звено за звеном и шаг за шагом,
наточите ножи, что вы сохранили,
вложите их в сердце мое и в руку,
как реку широкую желтых сверканий,
как реку истлевших давно ягуаров,
дайте оплакать часы, дни, годы,
века слепые, столетья созвездий.

Дайте молчанье мне, воду, надежду.
Дайте борьбу мне, железо, вулканы.
Прильните телами ко мне, как магниты.
Проникните в губы мои и вены.
Говорите моими словами и кровью.

ПУТЬ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ ПО ОСТРОВАМ

1493

Мясники опустошили архипелаги.
В этой истории мучений
первым островом был Гуанаанí.
Дети глины, проснувшись, увидели,
как разбили его улыбку, сломали
его хрупкий олений стан.
Даже умирая, недоумевали.
Их связывали, истязали,
их жгли, сжигали, травили
псами, закапывали живьем.
И когда время, вальсируя с пальмами,
сделало очередной пируэт,
зеленый зал оказался пустым.

Остались кости,
ровнехонько сложенные
в виде креста, для вящей
славы господи и людей.
От глинистых троп
и зарослей Подветренных островов
до коралловых рифов
нож Нарваэса * резал и резал.
Сюда крест, сюда четки,
а сюда Деву-Гарроту.
Жемчужина Колумба —
фосфорическая Куба
получила стяг, получила рабство,
ушла коленями в мокрый песок.

СОЮЗ ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕКА

Араукания, дубов стихийных ветка,
о жестокая родина и все же любимая,
одинокая в царстве твоих дождей!
Ты была только горлом минералов,
руками холодными, кулаками,
привыкшими вырубать скалы,
ты, о родина, была суровым покоем,
а твои люди — неясным гулом,
резким призраком, буйным ветром.

Мои предки арауканы не знали
шлемов с ярким опереньем,
не покоились на цветах брачного ложа,
не ткали жрецу золотые одежды:
они были камнем и деревом, корнями
кустов, колыхаемых ветром,
были листьями в форме пики,
головами воинственного металла.
Предки, едва с вершины
горы прислушались вы
к галопу коня, как молния вдруг
прорезала небо Араукании.
И стали предки из камня тенями,
сплелись с лесом и с мраком природы,
сверкнули льдиной и стали дикой
неровной почвой, ее шипами.
Так в глубинах неукротимых
предки ждали:
одни красным деревом с зорким взглядом,
другие чуткой глыбой металла,
третьи расщелиной, вихрем ветра,
а иные темным цветом тропинки.
О отчизна, корабль из снега,
ты листва, затвердевшая в бурях:
там родилась ты в день, когда твой человек
попросил у земли ее знамя,
когда воздух, земля, и камень, и дождь,
корень, лист, аромат, дикий рев,
как плащом, закутали сына,
полюбили его, защитили.
Так единая отчизна родилась,
и ее единство прежде битвы.

Я ВДРУГ ПРОБУЖДАЮСЬ НОЧЬЮ С МЫСЛЯМИ О ДАЛЕКОМ ЮГЕ

Приходит день, он говорит мне: «Слышишь
падение медленной воды,
воды, воды
пад Патагонией?»
И я в ответ: «Да, да, я слышу!»
Приходит день, он говорит мне: «Где-то
в пространствах дикая овца
цвет льдистый слизывает с камня.

Ты разве бляенье не слышишь,
не узнаешь лазурный шквал?
Луна в руке его как чаша.
Не видишь сонм теней и перст
злопамятного ветра? Он
волны касается и жизни
своим кольцом опустошенным».

Я ВСПОМИНАЮ ОДИНОЧЕСТВО ПРОЛИВА

Долгая ночь и ель оттуда приходят, куда ухожу я.
Стало все ныне другим: кислота и усталость,
крышка бочонка, — все то, чем я в жизни владею.
Капелька снега все плачет да плачет, прильнув к моей
двери.
Светлой одеждой гордится она, обветшалой одеждой
малой кометы, которая ищет меня и рыдает.
Нет никого, кто бы принял всерьез этот шквал,
протяженность его, завыванье
ветра над голой равниной.
Я подхожу и вам говорю: «Я юга достиг. На песок я
вышел. Сухие и черные вижу растенья.
Скалы одни здесь да корни. Водой и небом
грудь островов вся истерзана. Вижу Голодную Реку,
Сердце из Пепла, просторы Зловещего Моря.
Там, где шипит в одиночестве злая змея, повстречался я
с бурей.
Слышу прерывистый голос ее, как будто бы голос
книги старинной. Уста мне стогубые сияют, знаю,
что-то сказать. Только воздух их звук каждый день
пожирает».

ЗДЕСЬ ЦАРИТ ТОЛЬКО ОТЧАЯНИЕ

О зона, ты, которую веками
терзали ночь, вода и лед. Пространство,
с которым время спорит, и предел
земли в лиловом обрамлении,
с финалом голубым, подобным
чудесной радуге морской!
Во тьме твоей жестокой ночи

моей отчизны тонут ноги,
и здесь растоптанная роза
предсмертный испускает крик.

НЕВЗИРАЯ НА ГНЕВ

Подковы мертвые, изъеденные шлемы!

Но сквозь огонь и мертвые подковы,
с металлом тем, что в муках был отлит,
пробился, как источник, озаренный
зловещим блеском крови яркий свет,
число и имя, форма и структура.

Страницы, светлые, как воды, ясный блеск
шумливых языков и сладость капель,
вращенных, словно грозди винограда,
слога из платины, взошедшие в жемчужной
росе сердец, в их нежной чистоте.
Алмазы уст классическим сияньем
белее снега озарили землю.

А вдалеке вздымало изваянье
свой мертвый мрамор...

И взошел рассвет
машин над миром. Техника свою
воздвигла власть, и стало время шквалом
и скоростью во флаге морехода.

Луна нам географию открыла,
растенья и планеты,
придав геометрическую красоту
их непрерывному развитию.
Нас Азия овеяла своим
благоуханьем свежим. Вслед за кровью
явился разум. Нитью ледяною
сплетал он дни. И чистый мед,
во мраке спрятанный, распространяли книги.

Из голубятни живописи к небу
взлетела стая голубей,
лазурно-синих и червонно-алых,
и языки племен объединились
еще до песни в первых криках гнева.

Так вместе с каменным титаном,
с жестоким соколом пришла
не только кровь к нам, но пшеница.

И, невзирая на кинжалы,
разлился свет над нашею землей.

ОСВОБОДИТЕЛИ

Вот оно — дерево, дерево
бури, дерево народа.
Кровью героев вскормлены листья,
их голосами поет его крона —
зеленое звучное войско, — покуда
под ветром не падает зрелое семя,
хлебное семя на горькую землю.

Вот оно — дерево, дерево,
выросшее на крови убиенных,
заснувших с лицом, исковерканным болью,
засеченных плетью,
пронзенных копьем
и забитых камнями,
сожженных в костре
и казненных на плахе,
разодранных в клочья конями,
распятых во славу Христа.

Вот оно — дерево, дерево
с живыми корнями,
которое жадно сосет из земли
соленую боль истязаний,
соленую кровь убиенных,
соленые слезы народа
и перегоняют эту горькую влагу
в звенящую крону, распределяя
ее по цветам и по листьям.
Порой это были цветы-невидимки,
которые вяли, не распустившись,
но иногда они воспламенялись,
словно живорожденные звезды.
И человек собирал терпеливо
эти оплавленные лепестки,

передавал их из рук в руки,
бережно, словно магнолии или гранаты,
и однажды их семена пробуравили землю
и прянули ввысь, достигнув до звезд.

Вот оно — дерево вольных корней,
дерево-земля, дерево-облако,
дерево-хлеб, дерево-меч,
дерево-пламя, дерево-кулак.

Штурмует его штормовая волна
нашей полноточной эпохи,
но дерево-мачта упрямо вздымает
зеленую сферу всеильной листвы.

И ныне порою порыв урагана
ломает цветущие ветви,
и мертвенный пепел беды
пеленает великое дерево.

И все же оно победило агонию смерти,
между тем как рука,
несметное множество рук —
весь народ собирал семена и обломки ветвей
и бережно снова сажал их в землю отчизны,
и губы людей становились листвою
необъятного, тысячествольного дерева,
шествующего на могучих корнях,
полонящего землю от края до края.

Вот оно — дерево, дерево
дерево народа, или, вернее,
дерево всех непокорных народов,
дерево бури, дерево свободы.

Взгляни на его зеленые кудри,
погладь тяжелые молнии юных ветвей,
погрузи ладони в людскую лаву цехов,
где день за днем исходит сиянье
его бессмертный животрепещущий плод.

Взвесь на ладони тяжелую землю отчизны,
стань сопричастным к этому чистому свету.
Возьми в свои руки собственный хлеб и сердце,
бери свое яблоко, взнуздай своего скакуна,
и встань на страже у звонкой границы листьев,
и вечно живую крону кровью своей защити.

Защити цветущее древо,
раздели с ним грозные ночи,
заслони собой его утро
и звездной его вышиной
научись дышать, не давая
в обиду древо, древо,
растущее в сердце планеты.

МЯТЕЖНАЯ АМЕРИКА

1800 *

Нашу землю, бескрайнюю даль одиночеств,
вдруг заселили слухи, речи, стиснутые кулаки.
У всех на устах пылало запретное слово,
заговорщицки зрела мятежная роза,
и наконец поля содрогнулись
от грохота стали и гула копыт.

Правда была как отточенный лемех.

Она взрезала залежь и в благодатную почву
посеяла зерна смуты,
а после из них сама же взошла.
И были всходы ее поначалу безмолвны,
и враги под корень срезали снопы ее света,
на корню вытаптывали ее колосья,
шелестевшие как тайные знамена,
и все же она пробилась к солнцу
сквозь камни застенков.

И темный народ испил ее чашу,
вкусил от запретного хлеба,
и разнес о нем весть
по рубежам побережья,
по городам и горам,
и вышел на перекрестки дорог
читать запрещенную книгу весны.
Вчерашний час, полуденный час,
сегодняшний час долгожданный,
пробивший на грани времен —
между мертвой минутой и той, что родится
в пору, когда ошетибилась ложь, отступая...

Родина, тебя родили лесорубы,
некрещенные дети, мастера топора,
подарившие тебе свою крылатую кровь,
поющую в жилах диковинной птицей,
а ныне ты возродишься из теплого пепла,
который твои палачи
считали мертвой золой.

Как и тогда, ты родишься опять от народа.

Выйдешь из руд, из угля и росы,
отворишь ворота свободы
изувеченными руками, всей силой
неумерщвленной души, глянешь
грозными гроздьями выживших глаз,
взметнешь над лохмотьями молот
закаленного в пламени гнева.

ЗНАМЕНА

Знамена тех благоуханных времен —
знамена, не расшитые шелком,
потаянные, как тайная любовь,
знамена, закаленные в синем
пламени и ветре возлюбленного пороха.

Америка, общая наша колыбель,
звездный простор, спелый гранат,
вскоре твоя география,
словно улей, наполнилась пчелами,
шорохом, шепотом камня,
и соты улиц запестрели платьями
и загудели голосами толп.

В ночи, расколотой залпами,
празднично блестели глаза
и лепестками лимона
нарядно светились рубахи.
Поцелуй прощанья!
Любовь
считала свои поцелуи,
и пела война и играла
на гитаре по всем дорогам.

ЧИЛИЙЦЫ

Чилиец, все это сделано твоими руками.
Твоими руками, твоими
ногтями, мой соплеменник,
одетый в жалкие лохмотья,
растоптанный, раздавленный медью.
Руки твои — это география Чили.
Ими открыты новые кратеры, где
зеленеет медная мгла;
ими ты основал планету
из океанического камня.

Эти руки ставили крепь,
сжимали кирку и лопату,
рвали порохом скалы,
поджигали запалы адских яиц,
снесенных динамитной курицей.

Вот он — этот заброшенный кратер:
даже с далекой Луны
можно разглядеть его глубь,
сотворенную неким
Родригесом или Карраско,
Диасом Итурриетой,
неким Абаркой и Гумерсиндо,
чилийцами, чье имя — Легион.

Измученный чилиец
камень за камнем,
день за днем,
лето за летом,
торопясь на стремнине
и в медленном токе времен,
омывающих горные выси,
сотворил этот медный мир,
учредил его на земле.

НАСТАНЕТ ДЕНЬ

Освободители, в эту полночную пору
мглы, затопившей наш континент,
в этот час предрассветного безлюдья
я вам вручаю заветные скрижали

с именами моих народов,
именами, переполняющими сердце радости
в нашей ежечасной и трудной борьбе.

Голубые гусары, сгинувшие
в темной пади времен,
солдаты свободы, чье знамя
светает над миром,
сегодняшние бойцы, коммунисты,
наследники железной руды
и стальной расплавленной лавы,
вслушайтесь в голос поэта,
рожденный в чилийских горах,
голос, который горит добровольно
в костре ежедневной муки,
повинуясь естественному долгу любви.
Слушайте! Мы с вами — одна и та же земля,
один и тот же гонимый народ,
мы с вами крещены
в одной и той же боевой купели.
Разве вы со мной не встречались
в мрачной пещере моего подполья?
Разве вы не коснулись дыханьем
моей сумрачной жизни?
Сердце преданного народа
колотится на каждом перекрестке!
Свободу и мир, завоеванные вами,
заточили в погребах,
у народа похитили хлеб
вашей кровавой жатвы,
а карту единого братства
разрезали ножницами границ,
учредив пустынные зоны
слепой и яростной мглы.

Вберите в себя дрожь вашей земли,
корчащейся в судорогах скорби,
соберите урожай с печально поникшей нивы,
ибо под сенью знамен
уже вызревает опять
гул громового набата.
Спуститесь в глубь рудных корней,
поднимитесь к железным вершинам,
благословите рукопожатьем
людей, ведущих борьбу

наперекор изощренным пыткам,
против всего, что застит солнечный свет.

Поклонитесь заре,
завоеванной павшими героями.
Ибо из похороненного в земле семени
родится пшеничное поле.
И, словно пшеничное поле,
народ соединяется корнями,
множит свои колосья
и прорастает сквозь град и грозы
навстречу весеннему свету.

КАК РОЖДАЮТСЯ ЗНАМЕНА

В крови знамена наши и сегодня.
Народ их нежностью своею вышил,
сшил лоскуты своим страданьем.

Звезду горячею рукою укрепил.

Для той звезды, отечества звезды,
взял синеву рубашки или неба.

А красный цвет, за каплей капля, проступал.

С ВЕРШИНЫ

1942

Все пройдено и пережито при восхождении:
зыбучий ветер, вороненая ночь
и луна над воронкой кратера,
сгустки сухого лунного света,
присохшие к базальтовым шрамам,
туника гранитной тверди,
разорванная известковой падью,
переплетенье рудных жил,
в которых свернулась кровь металла,
объятые ужасом кварц, заря и пшеница,
ключи от гор в потайных утесах,
жутковатый контур искореженного юга,
серные соли, вытянувшиеся во сне

во весь необъятный рост
чилийской географии,
наплывы бирюзы на побережье,
омывающие снопы срезанного света,
железную, вечноцветущую ветвь,
просторную гущу ночи.

НА ПОБЕРЕЖЬЕ

Сантос * пропитан запахом прелых бананов,
который струится, словно река золотой мяготи,
оставляя по берегам размывы слюны,
лохмотья пены на губах раздавленного рая,
и железный лязг воды, теней, паровозов
вливается в русло пота и перьев,
текущих из гущи расплавленных листьев,
как из горячих подмышечных впадин:
полет на изломе, древняя
пена.

ЗИМОЙ В ЮЖНЫХ ШИРОТАХ, ВЕРХОМ НА КОНЕ

Я прорубал себе путь сквозь кору и толщу
задубевшего, окаменелого юга.
Я спал рядом с конем,
укрываясь холодной глыбой чилийской ночи.
Я лязгал зубами, идя по лезвию горных троп,
я приникал к щеке отвесных утесов,
я знаю, как обрывается в тумане галоп ущелья,
мне знакомы лохмотья нищего путника,
и нет для меня бога, кроме песка под ногами
и каменной хребтовины ночного кряжа
в ожидании хмурого дня,
который одарит созревшим рубищем
в придачу к изнеможенному духу.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Быть может, ты испытал это сам: глухая ночь,
вскрик на острие ножа и скользкая кровь под ногами,
холодная сталь креста,

обещанного тысячекратно,
тяжелые удары в глухую дверь,
пропасть или молния, поглотившие след убийцы,
и псы захлебываются лаем, а жандармы
врываются к спящим,
чтобы выкрутить, вырвать из перепуганных глаз
скорбные нити слез.

ЮНОСТЬ

Запах слив, пронзающий в дороге,
словно горькое острие шпаги,
сахарный вкус поцелуя на губах,
влага жизни в ладони,
сладкая мякоть любви,
гумно, сеновалы, потайные
уголки просторного дома,
матросы былого, щемящая зелень полей,
которую видишь сверху, из чердачного окна,
мокрая, пылающая юность —
словно факел, опрокинутый ливнем.

ВРЕМЕНА ГОДА

Осенью тополь осыпает
тонкие стрелы, новорожденное свое забытье,
и ноги тонут во взъерошенном плюще,
а холод обожженных листьев —
это густой родник текучего золота,
и вот блестящие ветви воздевают к небу
свои сухие ошестинившиеся канделябры,
и желтый ягуар леса, выпуская когти,
пахнет живой водой.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА

Луна ли, красная, словно окровавленный приклад:
хлесткие ли плети лиан,
жуткий ли взгляд вырванного заживо глаза, —
что тебя заставляет молчать
и молча сносить все муки,

о девичье тело Америки, рай,
изъязвленный гнойными ранами?
И днем и ночью я вижу, как тебя пытаются,
и днем и ночью негр, индеец, белый
пишут на стенах неизбывной ночи
перебитыми руками
собственной кровью безмолвное слово.

ГОЛОД ЧИЛИЙСКОГО ЮГА

Уголь Лоты * облит слезами.
Сморщенная тень чилийца
вгрызается в горькие недра.
Люди умирают, живут и рождаются
в кварцевом прахе, словно
прожить жизнь — это значит
вдохнуть положенное число раз
угольную пыль и копать
и вспомнить перед смертью
только кашель, разрывавший грудь в зимнюю
стужу,
только слепого коня в черной воде,
куда, словно сломанный нож,
падает лист эвкалипта.

ПАТАГОНИЯ

В глубинах этого оледенелого края
тюленихи рожают детенышей
в сумрачных гротах, нагроможденных
предсмертной судорогой моря.
Патагонские коровы лежат
на ладони дня,
как темное столпотворенье, как теплый
пар, струящийся в глубину
одинокого неба.
Америка здесь гулка и пустынна,
словно колокол, в котором заперта песня.
Каждый рыбак и пастух
знает: вокруг ни души — ни руки,
ни щеки, ни человеческого уха.
Патагонцев стережет луна
и караулит ночь, а потом
родится древний и длинный, медленный день.

ЧЕЛОВЕК, ПОХОРОНЕННЫЙ В ПАМПЕ

Танго, танго,
попроси у посмертной судьбы,
чтобы я, колосясь пшеницей,
проросшей из моего сердца,
услышал в степи топот копыт,
чтобы ярая буря галопа
пронеслась по моим ладоням,
зарытым в землю.
Безгубый, я бы поцеловал
семя, лежащее рядом со мной,
завещаая ему свои глаза,
чтобы ими снова увидеть,
как скачет в пампе табун.
Убей меня, видалита *,
убей и развей мою душу по ветру
хрипом гитарной струны.

ПОРТОВЫЕ РАБОЧИЕ

Докеры Вальпараисо *
пригласили меня в гости.
Они были крепки и коренасты.
Обожженные солнцем, они —
это слепок с океанских широт,
мускулы волн, людская река,
словно морское течение,
паруса и крылья на свежем ветру.
Они были прекрасны, эти нищие боги,
полунагие, полуголодные, но
единые в борьбе и жизни
со своими братьями за океаном,
с такими же докерами из других портовых городов.
Все они говорят на одном языке,
на языке Балтимора и Кронштадта,
и когда они запели «Интернационал»,
я запел вместе с ними.
Я хотел им сказать: «Братья!»,
но вместо этого моя нежность к ним облеклась в песню,
которая, срываясь с наших губ, летела в море.
И все-таки они во мне признали брата.
Они обнимали меня дружескими взглядами
и, не говоря мне тоже ни слова, пели.

АМЕРИКА

Я навсегда окружен, полонен
твоей чащобой и болотом,
твоим зверьем, твоими грозами,
дурманным ароматом лилий.

Я полонен

днями и родниками, которые вняты мне одному,
когтями, рыбами, днями, которые мне лишь подвластны.

Я полонен

полоской трепещущей пены,
сражающейся день изо дня с побережьем, населенным
колоколами.

Красная кожа вулкана и индейца,
дорога, протоптанная сквозь дебри босыми ногами,
дорога, проторенная среди ядовитых шипов и сплетенных
корней,

зовет меня в путь.

Темная кровь, осенним дождем
затопившая землю,

черное знамя смерти в сельве,

поступь завоевателей, поглощенная чащей,

воинственный клич, мерцанье слепящих копий,

захваченный врасплох сон воинов,

широкие реки с мирным плеском кайманов,

юные города с непрошеными алькальдами *,

неистребимо привычное пение птиц,

дрожь светляка

сквозь сумерки сырого дня в лесной чащобе...

Америка, я обитаю в твоем чреве, в твоем

миндальном закате, в твоих родовых схватках,

в землетрясениях, в сельских поверьях, в пепле,

осыпающемся с твоих ледников, в твоем пространстве,

в чистом и неприступном твоём просторе,

в твоей замкнутой сфере,

в окровавленном когте кондора, в твоих неграх,

в «умиротворенной» и попанной Гватемале,

в молах Тринидада, в Гуайре *,

ты моя ночь,

ты мой день,

ты мой воздух: тобою

я живу, страдаю, умираю и встаю из мертвых.

Не из мглы, не из света

сотканы песни мои, Америка.

Звезда и хлеб моего торжества

замешены на черноземе,
и грезы мои вылеплены из земли.
Я сплю в окруженье твоих песков
и на заре
умываюсь твоей ключевой землей.
И вино, что я пью, — не вино, а земля,
хмельная земля, утоляющая жажду,
росистая крестьянская земля,
земля мерцающих плодов,
пшеничный водоем, полные золота закрома.

НЕ ВСУЕ ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ, АМЕРИКА

Не всуе взываю к тебе, Америка.
Прижимая меч к сердцу,
смиряя в душе скорбь,
подставляя лицо лучам
твоего нового рассвета,
я обживаю солнечный свет, меня породивший,
я вживаюсь в ледяную мглу, которая меня закалила,
я просыпаюсь на рубеже твоей главной зари,
переполненный сладостью плодов и гневом,
вершитель твоей нежности и мести,
зачатый твоим детородным млеком,
вскормленный кровью твоего наследия.

ВЕЧНОСТЬ

Пишу для земли, едва лишь обсохшей, едва
успевшей покрыться цветами, пылью, свежей известкой,
пишу для кратеров, чьи купола меловые
круглятся, пустые внутри, рядом с девственным снегом,
обращаюсь к железистым испареньям,
вырывающимся из бездонных расщелин,
разговариваю с лугами, у которых — не имена,
а приметы:
лишайники, или выгоревшие тычинки,
или терпкие заросли, где изнывает кобыла.

Откуда и взяться мне, как не из этих первичных
материй, которые переплетаются, вьются, теснятся,
разражаются воплями, расплываются как виденья,
или взбираются по стволу, одевая его броней,



или уходят вглубь, добираясь до атомов меди,
или оседлывают потоки, или изнемогают
в угольных гекатомбах, или светятся
в зеленом сумраке винограда?

Во сне я, подобно рекам, неутомимо
одолеваю пространство, дробя и опережая
течение ночи, вздымая навстречу свету
часы — один за другим, отыскивая на ощупь
тайные образы, спящие в известковой могиле,
карабкаясь к водопадам, только что укрощенным,
чтобы коснуться еще не родившейся розы
на перекрестке рек,
чтобы открыть затонувшее полушарье.
И кажется мне земля собором, чьи бледные веки
сомкнуты навсегда, слиплись и превратились
в ключья, взметенные шквалом, в соль на стенах подвала,
в краски прощальные осени покаянной.

Вас никогда, никогда не сводила дорога
с предначертаньями голого сталактита,
вам незнакомо огней ледяных сиянье
и запредельный холод увядших листьев,
не проникали вы вместе со мною в волокна,
те, что земля скрывает в своих недрах,
вы не пытались восстать из могильного праха,
вырасти из песка, взойти по его ступеням,
чтобы роса прозрачной своей короной
свежую розу заново увенчала.
Вам не прожить иначе, как умирая,
шествуя к смерти в обносках вашего счастья.

Но я — металлический нимб, я — кольцо,
прикованное к пространствам, тучам и землям,
которое приникает к водам, низвергнутым и онемевшим,
и снова вздымается, вызов бросая бурям.

ГИМН И ВОЗВРАЩЕНИЕ

1939

Родина, родина, плотью и кровью я снова с тобою.
Встреть же меня как сына. Слышишь: я полон
песен и плача!

Прими же

эту слепую гитару,
этот разум, блуждавший по миру!
Я уходил, чтоб с сынами земли повстречаться,
с именем твоим снежным я вышел искать павших,
я вышел построить дом из твоей свежей древесины,
твоей звездой озарить раненых героев!

Нынче в твоём существе я хочу позабыться.
Дай же мне светлую ночь струн твоих проникновенных,
дай твою ночь корабля, дай твоё звездное небо.
Родина, хочется мне тень поменять. И хочу я
новою розой владеть. И хочу положить я
руку на тонкий твой стан. И на выжженных морем
скалах сидеть я хочу. Колебание пшеницы
остановить я хочу и в колосья взглядеться.

Флору я избираю, высохшую от селитры,
нить ледяную спяду из колокольного звона.
В честь твоей красоты сотку я венец прибрежный
из одинокой твоей и прославленной пены.
Родина моя, окружена ты
сонмом воинственных вод. Соединились
сера в тебе и орел. В горностайно-сапфирной
южнополярной руке твоей искрится капля
чистого света людского, чтоб им озарилось
и вспыхнуло враждебное небо.

Родина, свет свой храни! Колос надежды
да не погибнет в слепой атмосфере смятения,
ибо достался на долю земли твоей дальней
свет этот трудный —
судьба людская.

Ты защищаешь цветок небывалый,
что расцветает, загадками полон,
здесь, в необъятной Америке спящей!

ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ НА ЮГ

1941

В Веракрус * , больной, вспоминаю далекий
день чилийского юга, серебряной рыбой
разрезающий небесные волны.
Вижу издали Лонкимай, Лонкоче, Карауэ * ,
восседающие на своих деревянных и кожаных тронах,

оплетенные тишиной и корнями.

Юг — это конь, пустившийся вброд,
он увенчан росой, ветвями ленивыми,
лишь подымет зеленую морду — и сыплются капли,
и хвоста его тень — словно туча над архипелагом,
а во чреве его растет благородный уголь.

Неужели, скажите мне, тени ночные,
неужели, скажите мне, руки, ноги, сраженья,
никогда не войду я хозяином в лес, не раздвину колосья,

туман, —
не окунусь больше в ту синеву, что смолоду правила мною,
изнуря меня непрестанно?

Дай мне, небо, один только день прошагать от звезды
до звезды,
ступая по свету и пороху, кровь мою проливая,
чтоб добраться туда, где рождается дождь!

Хочу я
брести по теченью реки Тольтен, провожая бревна,
из лесопилок, хочу выходить и входить в харчевни,
грохая по полу мокрыми сапогами,
отыскать дорогу по снегу, что излучает орешник,
растянуться в коровьем хлеву, умереть и вернуться
к жизни,
разгрызая пшеничные зерна.

Океан, принеси мне
день чилийского юга, вцепившийся в твои волны,
день древесный и влажный, и пусть ударит
антарктический ветер в мое холодное знамя!

ПЕЧАЛЬ ВБЛИЗИ ОРИСАБЫ *

1942

Что ты оставил на юге? Только ночь, только реку,
только листья, которые носит холодный ветер
и устилает дальние берега неба.

Любовь — не она ли свои разметала кудри,
словно еще одну снежную бурю над островами,
словно еще одно извержение огненной лавы,
и не она ли снова ждет тебя под навесом,
там, где в который раз опадают дрожащие листья,
и все та же грязная пасть их пожирает,
и сверканье дождя плющом своим все заткало,
от подземного единства песчинок

до листвы, где ютятся колокола и капли?
Это туда весна приносит влажный свой голос,
который журчит в ушах у лошади спящей,
а после падает в золото сжатой пшеницы,
а после прозрачным пальцем манит из винограда.
Что ты оставил там, куда — не с балконов,
не из-за стен — тебя призывает юг?
Словно степняк, ты своей рукой осязаешь
круглую чашу земли, слух обращая к корням:
издали — ветер грозного полушарья,
скачка заиндевелых карабинеров;
тонкая струйка воды, словно нитью, сшивает время,
и расплзается шов прилежный;
что тебя ждет в ночи дикого побережья,
завывая, захлебываясь лазурью?

Там день, быть может, застыл, пригвожденный колючкой,
вонзившей усталый шип в его старое тело
и разорвавшей его ветхое брачное знамя.
Кто же сберег день черного леса, кто вынес
каменные часы ожидания, кто охраняет
временем траченное наследство, кто стремится
в воронку вихря, не пропадая из виду?
День, один только день в смятенье отчаянных листьев,
день, сиянье, расколотое холодным сапфиром,
вчерашняя тишина, защищенная пустотою
вчерашней, в глубинах исчезнувшего пространства.
Юг, я люблю твою жесткую спутанную гриву,
твою антарктическую красу — непогоду и пепел,
скорбную тяжесть сражающегося неба,
ветер люблю того дня, в котором меня ожидаешь:
знаю, что поцелуй земли неизменен — и он неизменен,
знаю, что лист не слетает с ветви — и он не слетает,
знаю: все та же самая молния — на страже своих

металлов

и бесприютная ночь — та же самая ночь,
но это моя ночь, юность моя, влага
оледенелых слез, которые меня помнят.

Стать бы мне тем, кого вчера ожидали люди,
кто, сопричастный лавру, пеплу, надежде,
воспламеняет кровь своим трепетаньем —
кровь, которая обитает в лесу и на кухне,
на фабриках под опереньем из листового железа,
в штольнях, изъеденных сернистым потом.

Не только терпкий воздух лесной меня ожидает,
не только раскаты грома над снежным сияньем,
слезы и голод, словно две лихорадки,
восходят на отчую колокольню и бьют в набат:
отсюда, с благоуханного неба,
отсюда, когда наступает октябрь и мчится
антарктическая весна над винным брожением,
раздается рыданье, и снова рыданье, и снова,
и встречаются в плаче снег и медь, корабли и дороги,
и долетает через ночь и пространство земное
до моей пересохшей глотки, которая все вбирает.

Народ мой, что говоришь ты? Ты меня слышишь,
моряк, пеон, алькальд, шахтер селитряных копей?
Я слышу вас, живые и мертвые братья,
слышу, к чему стремились вы и что схоронили,
слышу кровь, которою вы напители пески и море,
сердце израненное, которое борется и страшится.

Что ты оставил на юге? Где там идут дожди?
Скольких покойников струи его исхлестали?
Это мои земляки, жители юга, герои
покинутые, урожай, развеянный горестным гневом,
скорбью безмерной, голодом, нищетою и смертью,
листья опавшие их покрывают, листья,
отблеск луны на груди солдата, отблеск,
переулочок отверженных — здесь, и там, и повсюду
человеческое молчанье, словно холодный камень,
оледенивший своими прожилками мою душу
прежде, чем я вознес колокол в поднебесье.
Родина плодоносящая, не уснуть мне
без твоего ясного и сумрачного взора.
Хриплый вопль твоих вод и существ меня сотрясает,
и бреду я во сне вдоль твоей торжественной пены
до последнего островка на поясе твоём синем.
Ты зовешь меня нежно, будто невеста.
Ищет меня и слепит твой луч, сверкающий сталью,
словно шпага, вросшая в почву корнями.

Отчизна, возлюбленная земля, свет, восставший из пепла,
как раскаленный уголь, в пламени проступает
грозная твоя соль, тень нагая твоя.
Стать бы мне тем, кого ждали вчера, — чтобы завтра
выстоять, обратившись в горсть праха и маковых зерен.

ТОКОПИЛЬЯ *

От Токопильи на юг, на север — пески,
известковая осыпь, шаланда, обломки досок,
искореженное железо.
Кто изменил первозданный облик планеты,
прокаленной и золотой, кто к снам ее, соли и пороху
примешал отслужившую утварь, отбросы?
Кто здесь оставил дырявую крышу, стены
разверстые и ворох смятых бумаг?
Сумрачный след человека, затерянного в пустыне,
припадавшего к плоске ее луны известковой,
еле принятого ее смертоносным песком!

Редкая чайка среди строений,
рыба, взъерошенный буревестник,
вы, дары моря, принесенные сетью кровавой
и непогодой, — видели вы чилийца?
Видели вы человека на двойном рубеже
между снегами и океаном, под зубастым оскалом
береговой линии, в бухте?

Словно голодные вши, иступленно вгрызаясь в соль,
двигались с побережья поселенцы, шахтеры,
от одного шрама пустыни к другому,
добираясь до края луны, — и дальше! —
оставляя застывшие отпечатки.

Далеко от тех мест, где расхаживают пеликаны,
на суровых привалах без хлеба, воды и тени
раскрывает селитра свои секреты
иль медь готовится стать изваянием.
Все там — как погребенные звезды,
как стрелы отравленные,
как цветы преисподней,
белоснежные от дрожащего света,
или как черно-зеленая ветвь пронзительных молний.
Ни к чему там перо — нужны только руки
простого чилийца, не знающего сомнений.
Только кровь отчаянно бьется в жилах,
взывая от имени человека.
В жилах, в шахтах, в подземных норах,
где ни воды, ни лавров.

О безвестные земляки,
изъеденные этим светом, что горше

смертной купели, герои, ввергнутые во мрак
рассветом соли, взошедшей над миром,
где вьете вы ваши гнезда, блудные сыновья?
Кто видал вас среди истертых канатов
в заброшенных гаванях?

Или

под туманом из соляных испарений,
или на берегу из металла,
или, быть может, быть может,
уже под песками пустыни,
под ее пыльным надгробием,
замолчавшими навсегда!
Чили, Металл, и Небо,
и вы, чилийцы,
посев, суровые братья,
все застыло в безмолвном строю,
в каменном постоянстве.

ПЕУМО *

Надломил я в чаще гладкий листок: повеял
узорчатого краешка запах,
сладостный, словно крылья, которые слетели
из никогда, из земной глубины, издалека.
Пеумо, тогда я увидел твою листву, твою зелень,
тщательно завитую, покрывавшую дрожью
и ствол твой, и твою душистую окружность.
Я подумал, что ты — вся земля моя. Пусть стяг мой
полнится ароматом расцветшего пеумо —
тем запахом полей, что входит сразу,
внося с собой отчизну, всю в ее существованье.
Чистый пеумо, годов и волос благоуханье
на ветру и под дождями, около перевала
крутого взгорья, в шуме воды, что проникает
до самых корней наших. О любовь, о лесное время,
чей аромат рождается и может нас наполнить
от одного листочка, пока мы не расплещем жизнь,
как кувшины, закопанные когда-то!

ЧИЛИЙСКИЙ БАМБУК

Средь упрямых своих листьев, не знающих улыбки,
скрываешь ты рощу в глубь запряженных копий.
Ты ничего не забыл. Когда мимо тебя прохожу я,

слышу, как шепчет твердость, и слова разбираю,
что ранят остро, слоги, что шипы питают.
Ты ведь помнишь. Ты — известь, смоченная кровью.
И ты — поддержка дома. И ты — войны опора.
Ты — знамя. Ты — над домом матери моей арауканки
крыша. Меч воина лесного, чилийца,
ощетинился цветами, что ранят и убивают.
Ты тщательно прячешь копья те, что изготавлиаешь,
те, что дождю известны, орлу лесов сожженных
и беглому жителю, что стал недавно нищим.
Все — так, все — так... Не выдай никому своей тайны.
Но сохрани лесное копье или древесину
для стрелы мне. Я тоже, я также все помню.

ЗАБРОШЕННЫЕ ЗЕМЛИ

Край опустелый! Безумная борозда,
где над костром или репейником разъяренным
марево голубое слоится.
Камни, истыканные
медными иглами,
дорог осязаемое безмолвие, ветви,
поглощенные каменной солью.

Здесь я, здесь,
я — человечьи уста, вбирающие, словно чаша,
вялую поступь запоздалого времени,
я — тюрьма, в которой вода томится,
я — средоточье цветущей и поверженной плоти,
я — всего лишь глухой и твердый песок.
Отчизна моя, незрячая и земная,
словно колючки, выросшие в пустыне,
тебе — все устои души моей, тебе — неустанный
трепет крови моей, тебе, возвращаясь, несущая
миску, полную маков.

Дай мне в ночи из всех на свете растений
нелюдимую влажную розу, что на знамени твоём дремлет,
дай мне с луны или земли твой хлеб, который обрызган
кровью твоею, темной и грозной:
нет мертвецов под твоими светящимися песками,
там только залежи соли да голубые
мертвые жилы таинственного металла.

ТОМАС ЛАГО *

Иные люди, улегшись между страниц, дремали, как насекомые в инкунабулах, ухитряясь при этом набрасываться с футбольным азартом на новые книги и забивать голы премудрыми головами.

А мы в ту пору пели в просторах весенних, шли по течению рек, волочивших андские глыбы, не разлучались с подругами и нередко, лакомясь медом, глотали и горечь мира.

Да и не только это. Главное — мы разделяли жизнь бедняков, что нашими стали друзьями, и за бутылкой вина они нас научили азбуке чистой песка, научили покою;

вот кто сумел пронести через все испытанья песенный дар. О времена, когда вместе мы забирались в пещеру, входили в лачуги, рвали паучьи тенета, бродили

по захолустьям чилийского юга, и небо ночное свой известковый раствор колыхало над нами.

Все было цветком, мимолетной родиной было, все было ливнем и становилось дымом.

Сколько дорог мы прошли, шаги замедляя у постоянных дворов, вбирая глазами и сердцем дальний закат, одинокий камень, надпись углем на стене, компанию кочегаров, которые тут же нас обучили всем своим зимним песням.

Были у нас и враги. Но только червяк газетный ползал по нашим окнам, меняя обличья, вынырнув из бумажного моря

и донимая своими возвышенными речами, — нам повстречался и скотовод разъяренный,

который хотел обобрать нас, приставив к груди пистолеты, грозясь матерей опозорить наших и заграбастать наши пожитки

(именуя все это «геройством» и прочим вздором).

Этих людей мы отбросили взглядом. Не удалось им вытрясти из нас душу, сердец усмирить биенье, и пошли они каждый к своей могиле:

тот — по вине газет европейских,
а тот — из-за денег.

А наши факелы разгорались все жарче, превыше любой писанины и всяких головорезов.

РУБЕН АСОКАР *

На острова! — мы сказали. То были дни упований,
прославленные деревья надежно нас подпирали,
ничто не казалось далеким, и свет, излучаемый нами,
раскидывал сети, готовясь к неслыханному улову.
Мы прибыли в башмаках из грубой кожи. Дождями,
дождями нас встретил архипелаг. В воде колыхалась
суша,
подобно зеленой руке, подобно перчатке,
чья пальцы всплывали

меж водорослей красных.

Мы продымили все острова. Мы курили
в отеле «Нильсон» до вечера и повсюду
расшвыривали раковины свежих устриц.
В городе был завод, производивший религию,
из огромных его ворот безжизненными вечерами,
словно длинная гусеница, выползала
вереница черных сутан под дождем тоскливым.
Мы утешались бургундским. Мы исписали
всю бумагу иероглифами нашей скорби.
Я вскоре уехал, а годы спустя, вдалеке,
в иных краях, где нашли пристанище мои страсти,
я вспомнил лодки лод ливнем, вспомнил тебя — все
сразу,
ты ведь остался там, и брови твои густые
на островах пустили влажные корни.

ХУВЕНСИО ВАЛЬЕ *

Хувенсио, никто не знает, как ты и я, тайну
леса в Бороа. Лишь нам с тобою
ведомы те заповедные тропы, где над землей красповатой
возникает свечение орешника.
Порой нас не слышно, а людям и невдомек,
что мы в это время внимаем
стуку дождя по деревьям, по цинковым крышам,
что мы все еще влюблены в телеграфистку,
в девчонку, которая вместе с нами
помнит надсадный вой паровозов
в зимней глуши.

Лишь ты, молчаливый,
окунался в благоухание трав, ливнем сраженных,

вдохновлял золотое плодоношение флоры,
срывал жасмин еще до его рождения.
Унылая грязь перед окнами лавок,
изжеванная колесами грузных повозок,
словно черная глина памятных нам страданий, —
эта грязь расплескалась — кто лучше тебя это знает? —
за спиной сокровенной весны.

И другие
сокровища мы сохраняем в тайне:
листья, которые, словно алые языки,
устилают землю, да еще камни,
обкатанные течением, камни речные.

ДИЕГО МУНЬОС *

Выстоять нам помогли не только открытия наши
и знаки, что мы разбросали по буйной бумаге, —
мы кулаками дорогу себе проложили
и одержали победу над злобной толпой,
а после, под звуки аккордеонов,
волны и снасти наши сердца вздымали.
Моряк, ты вернулся тогда из своих странствий,
Гуаякиль * одарил тебя запахом перезревших бананов,
и на всех широтах земли сверкало стальное солнце,
которое научило тебя раздавать боевое оружие.
Нынче на угольных шахтах отчизны суровое время:
скорбь и любовь, общая наша участь,
и на призыв твой встает, вырастая из моря,
радуга братства, опоясывая планету.

ПУСТЬ ПРОСНЕТСЯ ЛЕСОРУБ

V

.
И пусть проснется Лесоруб.
Пусть Авраам Линкольн придет
со старым добрым топором
и деревянною тарелкой,
чтоб сесть с крестьянами за стол.
Пусть голова его — как узел корневой,
глаза — какими смотрят доски,
и складки и морщины дуба

опять увидят мир огромный,
что вырос над лесной листвою
и ростом превзошел секвойи.
Пусть завернет он по пути в аптеку,
в автобус сядет пусть — идущий в Тампу *,
пусть яблоко надкусит золотое,
пусть он войдет в кино и потолкует
со всем простым народом.

Пусть проснется Лесоруб.

Пусть Авраам придет, пусть взбухнет
на его закваске старой почва
зеленая и золотая — Иллинойса *.
Пусть он в народе свой топор подымет
против новых рабовладельцев,
против плантаторской плети,
против ядовитого слова,
против продажи
кровавого товара.
Пусть идут со смехом и песней
белый парень и черный парень
против золотых ограждений,
против фабрикантов злобы,
против торговцев их кровью —
с песнею, смехом и победой.

Пусть проснется Лесоруб.

VI

Мир предвечерью, мир мосту,
мир винам и звукам — они меня ищут
и поднимаются в крови, сплетая
старый напев с землей и любовью, —
мир городу в пору рассвета,
когда просыпается хлеб, мир
реке Миссисипи, реке корней,
мир рубахе моего брата, мир книге,
для которой мир, как поцелуй воздуха,

мир большому колхозу под Киевом,
мир праху всех мертвых,
этих и тех мертвых, мир черному железу
Бруклина, мир писмоносцу: словно утро,
он заглядывает в каждый дом, —
мир балетмейстеру, который кричит
в рупор кружащимся на сцене вьюнкам,
мир моей правой руке,
пищущей лишь имя Росарио,
мир боливийцу в подполье —
он таится, как оловянная руда, — мир
твоей женитьбе, мир всем
лесопильням на реке Био-Био *,
мир растерзанному сердцу
партизанской Испании,
мир маленькому музею в Вайоминге *,
где слаще сладкого подушка
с вышитым на ней сердцем,
мир хлебопеку, и его любви,
и его мукé, мир
всей пшенице в пору прорастанья,
всей любви, ищущей тень под листвою, —
мир всем живущим, мир
всем землям и водам земли.

Здесь я прощаюсь, чтобы вернуться
в мой дом, в мои мечты,
возвращаюсь в мою Патагонию,
где ветер ломает бревна загонов,
а Океан брызжет льдинками.
Я всего лишь поэт и всех вас люблю,
брожу по белу свету, который люблю,
на моей земле шахтеров сажают в тюрьму
и солдаты помыкают судьями.
Но я люблю даже корни
моей холодной маленькой родины.
Если мне суждено умереть тысячу раз —
пусть я умру здесь;
если мне суждено родиться тысячу раз —
пусть это будет здесь,
рядом с дикаркой-араукарией,
с порывами южного ветра,
с недавно купленными колоколами.
Пусть никто не думает обо мне.

Подумаем обо всей земле,
громыхнем нашей любовью по столу.
Не хочу, чтобы кровь
вновь пропитала фасоль, хлеб,
музыку, — хочу, чтобы вместе со мной
рудокоп с дочкой,
адвокат, и моряк,
и мастер, делающий игрушки,
пошли в кино, а после сеанса
выпили самого красного вина.

Я здесь не затем, чтобы все уладить.

Я пришел сюда, чтобы петь
и чтобы ты пел вместе со мной.

БРАТ ПАБЛО

Сегодня меня навестили крестьяне: «Брат Пабло,
нет дождя, нет дождя, воды не хватает.

И скудный поток
реки
семь дней струится, семь дней высыхает.

С голоду пали в горах наши коровы.

Скоро погибнут от голода наши дети.
У многих в горах еды не осталось.
Поговори с министром, брат Пабло».

(Да, брат Пабло поговорит с министром,
но они не знают,
как встречают меня кресла со склизкой кожей
и всякая министерская мебель,
до лоска натертая льстивой слюной.)
Министр солжет, потрет свои руки,
а скот крестьянина-бедняка —
и осел и овца — среди расщелин скалистых
сдохнут от голода и скатятся в пропасть.

ГОЛОД И ГНЕВ

Простись с твоим участком, тенью,
что ты заработал, с ветвью
прозрачной, с землей освещенной,
с волом простись, со скупой водою,
простись со склоном, с музыкой звонкой,
к тебе не дошедшей в дожде, с поясом бледным,
с каменистой, сухой зарею.

Хуан Овалье *, я подал руку тебе, но без воды,
руку засухи, стену из камня.

И тебе я сказал: прокляни темную ламу,
жесткие звезды, луну, лиловую, как репей,
обломанную ветвь брачных уст,
но человека не трогай, не подсекай человека:
не пронзай его вены, не окрашивай песок кровью
и не сжигай долину
деревом с поникшими артериальными ветвями.

Хуан Овалье, не убивай. Но ты мне ответил
рукопожатьем: «Эти земли
жаждут убийства, ищут ночью
кары, возмездия, и воздух янтарный,
горечью воздух древний отравлен,
и даже гитара сейчас подобна
бедру преступленья, а ветер — кинжалу».

НАРОД

Красные поднял народ знамена,
гордо шел, по камням ступая,
и я был с народом в день этот бурный
в песнях высоких борьбы победной.
Был каждый шаг их — завоеваньем,
сопротивленьем был путь их смелый,
и были они еще как осколки
разбитой звезды, без грома, без блеска.
Их спаяло в тишине единство,
чтоб стали огнем они, крепкой песней,
медленным человеческим шагом,
ведущим вперед, к глубинам и битвам.
В них было достоинство, что сражалось

за то, что попрано, и заключало
в систему стройную ряд их жизней,
чтоб в двери входили они и садились
под знаменем красным в главном зале.

ДЕТИ БЕРЕГОВ

Вы, яманас *, парни моря, вы псы
Антарктики, битые ветром и стужей,
отбросы. На ваших костях
отплясывает откупщик, заплативший
по ставке за каждую гордую шею,
отрубленную торопливой навахой.

Угрюмцы из Антофагасты *, с засушливой суши,
отребье холодного моря,
наследники Рапы *, голодные из Ханга-Роз,
лемуры в тряпье, прокаженные из Хоту-Ити,
невольники-галапагосцы, бродяги с алчбою
в глазах на дорогах архипелагов, —
истлевшие рубища в грязных заплатах,
подобных клочкам
рассказа о вечной борьбе,
от ветра соленая кожа, бесстрашный
кусоч проянтаренной плоти...
На родину моря доставили груз:
веревку, клеймо и печать —
расплывшийся профиль с банкнота,
бутылки, усеявшие берега,
наместника и депутата.
И стало мощной сердце моря,
агонией, йодом, рубцом.

Когда началась распродажа, был нежный
рассвет, и рубашки
на палубе снежно белели,
и, дети небес, зажигались
цветы в переливах огня.

Теперь поедайте отбросы, отребье морей,
ищите тухлятину, продранные башмаки
надсмотрщика или матроса,
насквозь провоняйте дерьмом и гнильем.

Отныне вы загнаны в круг,
откуда лишь смерть вас выводит, —
не смерть на свободе средь лунной воды —
в загаженных дырах, в реестрах.

И если теперь
вам это забыть — вы пропали навек.
Когда-то у смерти был вольный простор —
скитания, переселенья, привалы —
могли вы тогда, пробуждаясь, плясать в окруженье
рассветной росы и цветов,
как рыбы, скользить по воде.
Теперь вы мертвы навсегда
в угрюмом декрете монаха,
отныне вы черви земли,
которые только однажды взмахнут
хвостом в преисподней грассбуха.

Кишите ж на всех берегах.
Пока хоть какой-то в вас прок,
пока рыболовная incogroation *
дерет с вас доход, вы имеете право
ходить на суденышках в море, рыбачить,
почесывать ребра на всех пристанях,
с бобами мешки волочить на горбу
и дрыхнуть в портовых клоаках.
И впрямь вы опасны: парша,
рожденная пеной. Уж лучше, пожалуй,
пихнули бы вас с дозволенья
священника в трюм корабля,
чтоб все ваши беды, все ваше рваньё
увез в никуда, и без гроба волна
последнего бедствия вас погребла бы
бесплатно в бездонной ночи.

ДОМ

Мой дом, чьи стены еще пахнут свежей,
недавно срубленную древесиной. Беспокойный
дом фронтере *, что трещал при каждом
шаге и свистел от ветра
войны и южной непогоды, превращаясь
в часть бури, в неизвестную мне птицу,
под ледяными перьями которой крепла моя песня.
Я видел тени, лица, что, как стебли,

росли вокруг моих корней, знакомых, близких,
в листве тенистой певших свои песни
и из-за потных лошадей стрелявших;
я видел женщин, прятавшихся в тень,
которую бросали их мужья, как башни,
и скачку, рассекавшую их дни,
и ночи гнева
разреженные, и громкий лай собак.
К каким таким далеким островам
отец мой на рассвете еще темном
в своих гудящих ускользает поездах?
Потом я полюбил горячий запах гари,
и масло смазки, и осей холодных точность,
и важный поезд, разрезавший зиму, растянувшись
надменной гусеницей по земле.
Дрожали двери вдруг.

Входил отец.

Его, как центурионы, окружали
путьцы в мокрых дождевых плащах,
и каплями и паром одевался
наш дом, в столовой — хриплая беседа,
стаканы опрокидывались, и ко мне
из-за перегородки доходили
скорбь, нищета, суровые рубцы
на лицах, люд без кошельков и денег,
нужды жестокой каменная лапа.

ТОВАРИЩИ ПО ПУТЕШЕСТВИЮ

1921

Потом я приехал в столицу, пропитанный смутно
дождем и туманом. Что это за улицы были?
Там сновали костюмы двадцать первого года
в зловонии жженого камня, газа и кофе.
Я проходил среди студентов и не понимал их,
я видел одни только стены, ища каждый вечер
в своей еще бедной поэзии ветви,
и дождь, и луну, которые вдруг потерялись.
Я часто входил в ее глубь, погружался
по вечерам в ее воды, тянулся
к чайкам забытого моря и отправлялся,
закрывши глаза, в кругосветные рейсы
внутри самого себя.

Но был ли то мрак, или это

были сырые и скрытые всходы в подпочве?
Из какой же зияющей раны рассыпала смерть
семена, пока не коснулась меня, и пока
не повела за собою улыбку мою, и пока
не вырыла посередине дороги колодец несчастья.

Я вышел, чтоб жить, и, окрепнув,
я пошел по жалким проулкам
и пел бессердечное нечто,
очень близкое к бреду.
Лица заполняли стены:
глаза, не выдавшие света,
похожие на выпуклые лужи,
в которых блистало злодейство,
наследство одиночества, ямы,
полные сердец разбитых.
Я с ними пошел. В их хоре
одиночество познал мой голос,
в котором он сам родился.

Я вошел, чтоб быть человеком,
пел среди огня и был принят
в круг товарищей, живших ночью
в тавернах, певших вместе со мною.
Мне они подарили больше,
чем простая нежность, больше,
чем весна, что они защищали, —
пламя дружбы, прочные корни
разлегшихся нищих окраин.

СТУДЕНТКА

1923

Нежней и бесконечней нежности самой
любовь телесная среди теней;
ты возникаешь из далеких дней,
среди восторгов наполняя свой бокал
тяжелую цветочною пылью.
От ночи, полной страшных оскорблений,
похожей на вино в разбитом черепке,
пришел я и упал, как раненая башня;
на бедных простынях твоя звезда
затрепетала рядом, небо озаряя.

И цвел жасмин, в крови горел огонь,
питаюсь этой новой темнотою;
мы сумерек касались без боязни,
и в окна времени стучались
большие полнокровные колосья.

Любовь — и больше ничего на свете,
как в мыльном пузыре, а улицы мертвы;
любовь — и умерла вся жизнь,
оставив нам горящие чуланы.

Почти до обморока погрузился я
в любовь, как в гроздь винограда,
пошел от поцелуя к поцелую;
привязан к ласке, и, губами
причаливая к волосам прохладным,
голодный у голодных губ земли,
я насыщался, насыщая.

ВОЙНА

1936

Испания, окутанная сном,
проснувшаяся оттого, что в волосах — колосья,
крестьянка, видел я, быть может,
твое рождение в темноте, в кустах, на скалах:
среди дубов и гор ты встала
и с венами открытыми по воздуху пошла.
И видел я, как на тебя из-за угла напали
бандиты прошлого. Они явились
с крестами из гадюк сплетенных, в масках,
и шли по ледяным болотам смерти.
Тогда увидел я, что отделились
кустарники от тела твоего;
на окровавленном песке оно лежало,
надломленное, одинокое, немое.
Вода, со скал твоих стекая, и сегодня
течет среди застенков, и в молчанье
несешь ты свой венец терновый.
Так у кого ж терпенья будет больше — у тебя
или у тех, кто мимо этих мук идет и на тебя не взглянет?
Я жил огнями зорь твоих и ружей,

и я хочу, чтоб вновь народ и порох
встряхнули обесчещенные ветки;
пусть сон вспорхнет, и пусть в земле сойдутся
разъединенные насильно семена.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1944

Я возвратился... Желтым лицом пустыни
встретил Чили меня.

Я терзался, попавши
с бесплодной луны в песчанистый кратер,
и нашел невозделанной землю планеты,
свет — без лоз виноградных, пустую равнину.
Пустую? Без зелени, без птиц, без навоза,
мне открыла земля свои голые дали,
кругозор свой холодный, где возникают
огненно-нежные души и птицы.

Но дальше
люди вскапывали границы и добывали
тонны твердых металлов.
Одни из них были рассыпаны, словно
мука из прогорклых зерен, другие
были на скалы похожи, огнем обожженные. Эти
люди и эта пустыня, подобная лунной, меня одевали
в могильные ткани, и тут я оставил
иллюзий своих никому не нужные нити.
Пустыне отдался я, и человек терриконов
вышел из темной дыры своей грубости внешней,
и так я узнал о несчастьях моего бедняги народа.

Тогда я пошел по дорогам и залам сената,
и рассказывать начал о виденном мной,
и показывать скорбные руки,
державшие глыбы земли, и жилища
нужды беззащитной, голодную пищу,
одинокую жизнь на забытой луне.

И бок о бок с моим босоногим братом
царство грязных монет я решил переделать.

Пусть травили меня — борьба не затихла.

Правда выше, чем эта луна.

Ее видят, как с палубы черного судна,
люди шахт, когда смотрят в глубокую ночь.

И мой голос в глубокой ночи разделяли
люди самой упорной породы на свете.

СРАЖАЮЩАЯСЯ ДОБРОТА

Но мертвой доброты с собою я не брал в дорогу,
я отшвырнул ее гноящиеся стоки
и к морю зараженному ее не прикоснулся.

Я добыл доброту как сталь, копая
вдали от глаз, стремившихся ужалить,
и среди шрамов выросло мое сердце,
рожденное на обнаженных шпагах.
Но я не вышел, в злобе рассыпая
клинки и камни средь людей.

И не был
мой труд трудом ударов и отравы.

Я безоружных не вязал узлами,
я их не бил плетями ледяными,
в поисках жертвы я не шел на площадь,
за пазуху свой нож коварно спрятав.
Я только рос корнями вглубь своими,
и почва, что растила мои ветви,
гадов, в ней скользивших, разгадала.

Пришел меня ужалить Понедельник — я кинул ему
листья,
пришел с обидной бранью Вторник — а я и не проснулся.
Среда явилась, зло оскалив зубы, —
я дал пройти ей, создавая корни.
Когда ж Четверг явился с ядовитым
чешуйчатым и жгучим
копьем из недоверья —
я ждал его при полном лунном свете
среди поэзии своей и оторвал
гроздь от него.

Идите сюда — чтоб умереть от моей шпаги.

Идите — чтоб в краях моих распасться.

Идите — желтыми полками
или ордою серной.

Все, что удастся им, — схватить зубами тьму
и укусить колокола — под семимильной моей песнью.

Я БУДУ ЖИТЬ...

1949

Я не умру. Сегодня, в этот день,
вулканами увенчанный, я кану
в народ, я ухожу в пространство жизни.
Все это я хочу решить сегодня,
сейчас, когда наемные убийцы,
вооружившись «западной культурой»,
в Испании творят кровопролитье,
и в Греции от виселиц темно,
и Чили четвертовано бесчестьем, —
всего не перечесть...

Я остаюсь
с народами, дорогами, стихами,
которые меня зовут, стучат
руками звездными в мое окно.

МОЕЙ ПАРТИИ

Ты наделила меня чувством братства к тому, кого я
не знаю.

Ты сообщила мне силу всех живущих на свете.

Ты дала мне родину, как новое рождение.

Ты дала мне свободу, которой нет у одиночки.

Ты научила меня разжигать добро, как костер.

Ты дала мне прямизну, без которой нет дерева.

Ты научила меня видеть единство и различие людей.

Ты показала мне, как горе одного человека утоляется
во всеобщей победе.

Ты научила меня спать на жестких постелях братьев.

Ты научила меня все строить на реальном, как на
гранитной скале.
Ты сделала меня противником злодея и заслонила от
безумца.
Ты помогла мне увидеть ясность земли и возможность
радости.
Ты сделала меня несокрушимым, потому с тобой я не
оканчиваюсь в себе самом.

**ИЗ КНИГИ
«СТИХИ КАПИТАНА»
(1952)**

ПОХИЩЕННАЯ ВЕТКА

Мы пойдем этой ночью
и похитим
цветущую ветку.

Перелезем через стену,
в сумрак чужого сада,
две тени в кромешной тени.

Зима еще не миновала,
а яблоня вдруг превратилась
в каскад ароматных звезд.

Мы дойдем в эту ночь
до трепещущего небосвода,
и твои детские руки...
и мои огромные руки
похитят две звезды.

И в ночи и во мраке
тайком
заберется в наш дом
тихий шаг аромата,
ступая твоими шагами,
легкой звездной походкой,
лучезарное тело весны.

ГОРА И РЕКА

Есть гора у меня на родине.
Есть река у меня на родине.

Пойдем со мною.

Ночь восходит на гору.
Голод к реке нисходит.

Пойдем со мною.

Не знаю, кто там страдает,
но это мои родные.

Пойдем со мною.

Не знаю, но я их слышу,
они говорят: «Мы страдаем».

Пойдем со мною.

Они говорят: «Мы — народ твой,
твой народ глубоко несчастный,
твой народ меж горой и рекою,

твой народ с нуждой и бедою,
без тебя он не хочет бороться,
ожидает тебя, товарищ».

Ты, которую полюбил я,
крошечная, зерно пшеницы;

будет борьба сурова,
будет судьба сурова,
но ты пойдешь со мной.

ИЗ КНИГИ «ВИНОГРАДНИКИ И ВЕТЕР» (1954)

ПЛОДЫ

О зеленые оливки Фраскати *,
гладкие, как молодые груди,
свежие, как капли океана,
чистое земное естество!

И вы, масличные рощи древней
земли, истерзанной и воспетой!
Каждой весной вас обновляет
та же глина, что лежит в основе
человеческой природы, та же
материя нашей жизни.

Вы и гибнете и рождаетесь,
воскрешенные, вечно новые,
вы, маслины иссохшей Италии!

Дети щедрого чрева,
в вечных муках рождающего
наслаждения земли.

В этот день и олива,
и вино молодое,
и песни друга,
и любовь моя к пространству,
и земля, вся влажная от росы, —
все было таким же простым
и вечным,

как зерна хлеба
там, во Фраскати,
с его домами,
пробуравленными смертью,
с глазами войны в его окнах.

Меня встретил мир
сладким соком вина и масла.

Все было простым, как народ, как те люди,
что мне вручили

свой клад зеленый —
маленькие оливы,
свежесть, чистую усладу,
прелесть формы,
земную любовь.

ПИКАССО *

В Валорисе * в доме любом
свой имеется пленник,
пленник всегда тот же самый,
этот пленник — дым.
Порою за ним наблюдают
отцы с побелевшими бровями,
дочки с волосами овсяного цвета.
Но, когда ты проходишь,
ты замечаешь, что уснули
сторожа этого дыма.
И тогда над кровлями, над разбитой
трубой гончара
поднимается синий диалог
неба и дыма.

Но там, где трудятся вместе
дым и пламя, —
там остается смоляная роза,
крася простенки в черный цвет.
Там Пикассо
среди адских линий,
держа ком глины в руках,
обжигает его,
полирует, ломает,
пока глина не превратится в пояс,
в лепесток сирени,
в золотую влажную гитару.
И тогда
глину кистью он лижет,
и возникают океаны
или сбор винограда.
Глина отдает свои скрытые гроздья
и потом навсегда застывает.

Пикассо возвращается в мастерскую.
Маленькие кентавры

растут, несутся галопом,
и погружено в молчанье
вымя железной козы.
И снова Пикассо
из грота выходит,
оставляя стены
в царапинах
красных сталактитов.

А в свободное время
он болтает с брадобреем.

КОРАБЕЛЬНЫЙ ФОНАРЬ

Португалия,
вернись в море к своим кораблям,
вернись при свете зари, гвоздики и пены.
Португалия,
вернись к матросам,
вернись к своим берегам, к своим ароматам,
к свободным порывам твоего разума.
Покажи свои сокровища,
своих мужчин, своих женщин.
Не укрывай своего лица
смелого мореплавателя,
аванпоста в океане.
Португалия, капитан,
первооткрыватель островов,
изобретатель перца,
открой нам нового человека,
оглушенные острова,
открой архипелаги времени.
Открывательница зорь,
открой
внезапную,
как явление
хлеба
на столе,
зарю.

Но как же?
Как же ты,
показывавшая дорогу слепцам,
могла отказаться от эпохи света?

Ты, нежная, и твердая, и древняя,
то широкая, то узкая
мать горизонта, —
как могла ты захлопнуть двери
перед новою дозою,
перед звездным ветром с Востока?

Нос корабля Европы,
ищи меж течений
старинные волны,
матросскую бороду
Камоэнса.
Разорви
паутину,
заткавшую твои благоуханные мачты,
и тогда
нам, детям твоих детей,
которым ты открыла
неведомую дотоле арену
ослепительной географии,
ты докажешь,
что в силах
вновь пересечь
новое неведомое море
и открыть человека,
рожденного на самых больших островах земли.
Плыви, Португалия,
час настал,
поднимай повыше
нос своего корабля,
стань снова дорогой
среди островов и людей.
Стань опять светочем,
прибавь свой блеск
к сиянию нашего времени.

Так ты снова научишься,
как стать звездой.

ПРИБЫТИЕ В ПОРТ ПИКАССО

Я высадился в Пикассо в шесть ноль-ноль осенним утром,
как только небо заблагоговестило, что розовеет,
я осмотрелся: Пикассо

ширился и разгорался, как заря. Далеко позади
остались синие Кордильеры, в долине меж ними высился
пепельный Арлекин.
Это сюда я приехал из Антофагасты, из Маракайбо, сюда
прибыл из Тукумана
и из третьей Патагонии *, чьи ледяные зубы изъедены
громом, чьи штандарты вкопаны в вечные снега.

Когда я вступил на землю, то увидел на берегах Пикассо
гигантских женщин яблочного цвета
и признал их расширенные глаза и руки: то ли видел
таких же на Амазонке,
то ли форма что-то мне подсказала.

А на западе были забитые до желтизны скоморохи
и музыканты со всех полотен о музыке, и, более того,
всю географию
там заселяла душераздирающая эмиграция женщин,
обломков, лепестков и пламени,
а посреди Пикассо, меж двух долин и стеклянного дерева,
я увидел Гернику *, куда большой рекой по-прежнему
прибывала кровь,
превращаясь в чашу коня и светильник:

горящая кровь выступает из ноздрей,
влажный свет всегда обвиняет.

Итак, на землях Пикассо, с юга на запад,
все жизни всю жизнь возводили свои обители,
моря и мир собирали
свои злаки и свои брызги.

Я нашел здесь искореженный
гипсовый обломок, кусок бронзы,
мертвую подкову, которая, зарастив свои раны,
дорастала до металлической вечности;
я увидел землю, входящую в печь, как хлеб,
и возвращающуюся со своим святым дитятей.

Я нашел также черного петуха с раздробленным мозгом,
проволочные ветви сочленений синего кота,
веер его когтей
и самый главный скелет — тигра.

Я постепенно узнавал трепещущие следы,
оставленные водопадами, близ которых я родился.

Первым из них был угловатый камень,
на нем обманчиво проступали
обломанная ветка и дерево, в чьей изломанной генеалогии
рождались быстрые птицы моего родного очага.

Но из загона, расположенного в центре земли,
выскочил бык, я увидел его голос,
он шел, роя землю Пикассо,
его оттиск покрывался фиолетовой краской,
я видел его холку, его таинственную гибель
и все брызги пены на его морде.

Пикассо из Альтамиры *, Бык с Ориноко *,
водомер, оледененный любовью,
рудные земли, подобно плугу,
заставившие родить невинность мха.
Здесь же был бык, влачащий за собой
хвост соли и терпкости,
описывающий круги, перед которыми
на Испании звучит ошейник,
сухо стуча, как мешок с костями,
рассыпанный луною.

О цирк, где шелка пылают,
подобно уснувшим на песке макам;
где нет ничего, кроме дня, времени, земли, судьбы,
чтобы стать на дороге перед рвущимся, как ветер, быком.
Коррида покрыта фиолетовым трауром,
знаменем вина, вырвавшегося из бочки,
а кроме того, на ней серебро дорожной пыли
и кучи одеяний,
хранящих далекую тишину бойни.
По этим ступеням восходит Испания
с гневным лицом, морщинистым от золота и голода.
У нее нет век, и черный свет
льется на нас, минуя глаза,
что можно разглядеть сквозь веер.

Отец Голубки, расправивший крылья,
ты пришел с нею к дневному свету,
едва она была создана на розовой бумаге,
едва ее отмыли от росы и крови,
она призвала к себе все светлые знамена.

Голубка и мир, какое блестящее сочетание!

Круг, вобравший все земное!
Чистый колос среди кровавых стрел!
Неожиданное управление надеждой!
Мы бы были на дне
во взбаламученной глине,
но сегодня мы на твердом металле надежды.

«Это Пикассо», —
говорит рыбацка, нижущая серебряную рыбу,
и новая осень корежит знамя
пастуха: агнец, получивший клочок неба
в Валорисе,
видит, как цеха идут к приморским пасакам
под свою кедровую корону.

Как сильны мы,
когда из любви к человеку
бросаем твой жар на весы,
ставим его под наше знамя.
Твоего лица не было в пророчествах скорпиона.
Он хотел кусать,
но нашел под землею
твой мощный светоч.
Мы растем от берега до берега
по всей земле.

Кто не слышит нашего шага,
тот слышит твои шаги.
Этот путь проходит по бесконечности времени.
Велика земля. Ты не одинок.
Ярок твой свет. Зажги его над нами.

ГУТТУЗО *, ИЗ ИТАЛИИ

Гуттузо, на твою родину прибыла синева,
чтоб понять, какое здесь небо, и познать воду.
Гуттузо, свет пришел с твоей родины
и породил огонь на всей земле.
На твоей родине, Гуттузо, у луны запах
белого винограда, меда, лежалых лимонов,
но нет земли,
но нет хлеба!

Ты своей живописью даешь хлеб и землю.

Добрый пекарь, протяни мне руку,
возносящую к нашим знаменам мучную розу.
Землемер, ты писал землю, которую мерил.
Рыбак, твоя мечущаяся жатва,
покидая твою кисть, идет в дома бедняков.
Рудокоп, ты бурил тьму стальным цветком
и возвращаешься, весь перемазанный,
чтоб отдать нам твердость раскопанной ночи.
Солдат, пшеница и порох на полотне.
Ты защищаешь верную дорогу.

Жаждающие земли пахари юга на твоих картинах!
Безземельные, воззrivшиеся на звезду земли!
Безликие, получающие имя в твоём искусстве!
Очи сражений, движущихся к огню!
Хлеб борьбы, кулаки гнева!
Земные сердца, коронованные
электричеством колосьев!
Тяжелый шаг народа в завтра,
к решимости, к тому, чтобы стать людьми,
к тому, чтобы сеять и жать, —
все это оставило свои первые эскизы
в твоей живописи.

«Эти как их там? — спрашивают сеньоры
со злобными шпагами и орденскими лентами
с портретов на древних стенах твоей родины. —
Кто такие?» — И, распахнув ротонду,
императорская Полина * — сахарные груди,
нагая и холодная — спрашивает: «Кто такие?» —
«Мы — земля», — отвечают мотыги.
«Теперь наше время», — говорит жнец.
«Мы — народ», — поет день.

Я спрашиваю тебя: «Мы одиноки?» —
и твое лицо, видимое меж прочих крестьян,
отвечает: «Неправда».
Неправда, что ты одинокий скрипач,
устремленный к небу ночной неудачник
и хочешь летать, не касаясь ногами
земли, лесов и сражений!
Ах, я был в таких же ботинках,
когда шел вместе с тобою,
меряя шагами поля и рынки!

Я знал художника из Никарагуа. Деревья
там бешеные, а цветы на них распускаются,
как зеленые вулканы. Речные потоки
заливают летящие над ними потоки
бабочек, а тюрьмы
переполнены ранами и криком!
Этот художник приехал в Париж
и на полотне белом, белом, белом
написал бледной охрой точечку
и обвел ее рамкой, рамкой, рамкой.
Он пришел ко мне в гости, и мне стало грустно,
потому что за человеком и его точкой
рыдало Никарагуа, и никто его не услышал.
Бойни и муки Никарагуа
оставались не услышанными в сельве.

Живопись, живопись для наших героев,
для наших мертвых!
Живопись с колоритом яблока и крови
для наших народов!
Живопись лиц и рук знакомых
и незабвенных! Да будет цвет
митингов и реющих знамен
и цвет жертв полиции.
Да будут воспеты, зарисованы и описаны
сходки рабочих, перекур забастовки,
добыча рыбаков, ночь кочегаров,
шаги победы, бури Китая,
бескрайнее дыхание Советского Союза
и человек, все люди и дело каждого и светоч каждого,
их уверенность в своей земле и своем хлебе.

Обнимаю тебя, брат, потому что ты на своей стезе
вершишь судьбы борьбы и света Италии.
И да напишет своими золотыми мазками
грядущая пшеница
мир на земле для всего народа,
а когда ветер
перемешает волны урожая всего мира,
хлеб запоеет на всех великих нивах.

ИЗ КНИГИ
«ОДЫ ИЗНАЧАЛЬНЫМ ВЕЩАМ»
(1954)

ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА

Я не то чтоб смеюсь,
я посмеиваюсь
над поэтами прошлого.
Все люблю,
что написано ими;
росою, и лунным лучом
был мой брат в старину,
и алмазом,
упавшим на розу.
И все же посмеиваюсь:
всегда говорят они «я»;
на каждом шагу
случается что-нибудь с ними,
и всегда говорят о себе;
только они
по улицам ходят,
да еще их Прекрасная Дама,
и больше никто;
ни типографы,
ни рыбаки,
ни строители;
никто не срывается
с шатких лесов;
никто не страдает,
не любит, —
только бедный мой брат —
поэт.
Все, что случается,
случается только
с ним да с Прекрасною Дамой.
Никто не живет —
только он.
Не плачет никто

от голода или от гнева;
никто не страдает
оттого, что не может
заплатить за квартиру;
в стихах никого
на улицу не выселяют
вместе с кроватью и стулом;
на заводах
ничего не случается тоже;
кто-то делает зонтики, рюмки,
оружие и паровозы,
кто-то руду добывает,
добираясь до самого ада;
начинается стачка,
приходят солдаты,
стреляют,
стреляют в народ
и, значит,
стреляют в поэзию,
а брат мой
поэт
в кого-то влюблен в это время
или страдает,
потому что его ощущения —
«морские»;
он любит далекие гавани
за их имена
и пишет стихи про моря,
которых не знает;
рядом с жизнью, с ее теснотой,
где люди — как зерна в початках манса,
он проходит, и жизни зерно
он вылущить не умеет;
он встает и ложится,
не касаясь земли;
порой
он считает себя сверхглубоким,
загадочным;
так велик он,
что гордостью полон до самых краев;
все-то он путает, все он распутывает;
объявляет, что проклят,
что с великим трудом он несет
сумерек крест;
полагает, что он не похож

ни на кого на земле;
хлеб свой он ест ежедневно,
но булочника
не видал никогда,
не заходил
в профсоюз пекарей;
вот так бедный брат мой
старается быть непонятым,
изворачиваясь,
чтобы стать интересным, —
да, интересным,
вот в том-то и дело!
Я нисколько не выше,
чем брат мой,
а посмеиваюсь потому,
что иду я по улице
рядом с другими людьми;
жизнь бежит,
как любая река,
я один —
невидимка.
Нет ни тайн, ни теней,
ни тумана;
все со мной говорят,
все хотят рассказать мне
о родных,
о несчастьях своих
и о радостях.
Все приходят, и все
мне хоть что-нибудь да говорят.
А делают сколько!
Рубят дрова,
провода на столбы поднимают
и месят до ночи глубокой
хлеб свой насущный;
пробивают утробу
земли,
а потом превращают железо
в замки;
поднимаются в небо, увозят
письма, рыдания и поцелуи.
За каждую дверь
кто-нибудь есть,
рождается кто-нибудь,
любимая ждет жениха, —

а я прохожу,
и даже предметы
просят, чтоб я их воспел.
Где же время мне взять? Обо всем
должен я думать,
должен вернуться домой
и в партийный зайти комитет.
Как же быть?
Всё меня просит,
чтоб я говорил.
Всё меня просит,
чтоб пел я, чтоб пел я всегда.
Всё переполнено
мечтами и звуками.
Жизнь — это ларчик,
наполненный песнями.
Он открывается, и вылетают
стойкою
птицы
и что-то хотят рассказать,
на плечах у меня отдыхая.
Жизнь — борьба, а борьба,
как река, пробивает дорогу себе.
Люди
хотят рассказать мне, —
тебе рассказать, —
за что они борются,
и когда умирают —
за что умирают.
Я прохожу,
и времени мне не хватает,
чтоб на все отозваться.
Я хочу, чтобы все
жили
в жизни моей,
пели в песне моей.
Сам я — никто.
Времени нет у меня
для себя.
Ночью и днем
должен я все отмечать
и никого не забыть.
Конечно, от этого
я устаю;
тогда я на звезды смотрю,

ложусь на лугу; проползает
невозможного цвета букашка,
руку кладу я
на талию
или на грудь
той, кого я люблю,
и смотрю я
на бархат густой,
под которым дрожит
со своими замерзшими звездами ночь.
И я слышу тогда,
как в душе поднимается
волна темноты —
детство
и слезы в углу,
печальная юность...
И я погружаюсь в дремоту,
засыпаю,
как яблоня,
сплю
глубоко,
со звездами или без звезд,
с любимой или один.
А когда я встаю,
ночи как не было.
Просыпается улица раньше меня.
На работу идут
бедные девушки,
рыбаки возвращаются
с моря,
горняки
спускаются в шахту;
все живет,
все идут,
все спешат,
и с трудом успеваю
одеться.
Мне надо бежать:
не может никто
мимо пройти так, чтоб я не узнал,
куда он идет
и что с ним случилось.
Жить не могу я
без жизни
и быть без людей человеком.

И бегу, и смотрю я, и слушаю,
и пою.
Нечего делать
со звездами мне.
У одиночества нет
ни цветка, ни плода.
Дайте, чтоб жить мне,
все жизни,
дайте мне боль
всего света,
ее превращу я
в надежду.
Дайте мне
радости все,
даже самые тайные,
потому что иначе
как же узнаются радости эти?
Рассказать я их должен.
Дайте
борьбу
ежедневную мне,
потому что борьба — моя песня,
и мы вместе пойдем,
бок о бок пойдем,
все люди пойдут, —
собирает их песня моя.
Эту песню поет человек-невидимка,
он поет ее вместе со всеми людьми.

ОДА АМЕРИКАМ

Америка,
пречистая земля,
сбереженная
девственной и пурпурной
океанами,
пасека извечной тишины,
пирамиды, кувшины,
потoki бабочек цвета крови,
желтые вулканы,
молчаливые племена,
гончары, каменотесы.

А теперь, Парагвай,
речная бирюза,

сокровенная роза,
ты превращен в тюрьму.
Живо ли ты еще, Перу,
грудь мира,
корона
орлов?
Венесуэла, Колумбия,
ваши счастливые речи
смогли.
Куда удалился
ход рассветного серебра?
Только у птиц
остались древние облачения,
только водопады
сберегли диадемы.
Тюрьма
распространила свои решетки
повсюду.
В сумрачное царство
огня и изумруда,
в отечественные реки
ежедневно
вторгается властолюбец,
отрезает мечом наши земли
и приканчивает наше добро.
Начинается
охота на братьев.
В портах палат почем зря.
Из Пенсильвании *
приезжают эксперты,
новейшие
конкистадоры,
и покуда
гнилые плантации
и подземные копи
кормятся
нашей кровью,
доллары льются потоком.
Наши бешеные девчонки
вывихивают бедра
в обезьяньей пляске.
Пречистая Америка,
святая земля,
как тоскливо!
Мачадо * умирает, а рождается Батиста *,

удерживается Трухильо *.
Какие просторы
дикого поля
у Америки,
сколько чистоты,
сколько океанских волн,
пустынных памп,
вздыбленной географии,
и все это только для того,
чтоб размножались
ничтожнейшие торговцы кровью.
Как же так!
Да разве тишина
может делиться,
если со всех веток
панамериканской алчности
ее нарушают
кровавые попугаи?
Аmericи,
в которые врезались
ценными полосами
счастливые моря
и благоухающие пряностями
архипелаги,
сумрачные Аmericи,
над нами поднимается звезда народов,
рождаются новые герои,
покрываются славой
иные дороги,
оживают
древние нации.
Проходит
залитая светом
осень,
ветер развевает
новые знамена.
Пусть твой голос и твое дело,
Аmericа,
проистекут
из твоего зеленого лона.
Пусть твоя любовь
освободится.
Пусть возродится
доблесть,
давшая тебе жизнь когда-то.

Пусть поднимутся твои колосья,
поддерживая
вместе с другими народами
непобедимость рассвета.

ОДА ВОЗДУХУ

Я шел по дороге
и встретился с воздухом,
поклонился ему и сказал
с уважением:
«Рад я,
что ты в этот раз
покидаешь прозрачность свою, —
теперь мы с тобой побеседовать сможем».
Неутомимый,
танцуя, он ветки качнул,
смехом своим
с подошв моих пыль отряхнул,
паруса голубые поставил
на синем своем корабле,
поднял веки (из легкого бриза они)
и стал меня слушать.
Поцелуем приник я к плащу
властителя неба,
я закутался в знамя его
из небесного шелка
и сказал:
«Царь ли, товарищ ли,
пряжа ли, венчик цветка или птица —
я не знаю, кто ты,
но прошу об одном:
не продавайся!
Вода продалась,
и я видел,
как в водоемах,
в пустыне,
иссякли последние капли,
а бедные люди, народ,
шли по песку,
шатаясь от жажды.
Я видел, как свет по ночам
распределяли:
весь свет — богачам

в их дома, —
там в новых висячих садах
все стало зарей;
а всю темноту —
в страшный мрак переулков;
оттуда выходит,
как мачеха, ночь
с кинжалом в руке,
с глазами совы;
и крик, а за ним преступленье
вырастают и гаснут,
проглочены мраком.
Нет, воздух,
не продавайся,
не продавайся!
Пусть тебя не отводят, как воду,
пусть тебя не погонят по трубам,
пусть тебя не запрут,
пусть тебя не сожмут,
пусть тебя не загонят в таблетки,
пусть в бутылке тебя не убьют!
Берегись!
Ты меня позови,
когда буду я нужен тебе.
Я — поэт, и я — сын бедняков,
их отец я,
их родственник — дальний и близкий,
их брат я,
брат бедняков,
всех бедняков моей родины,
всех бедняков каждой родины.
Тех, кто живет у реки,
тех, кто в горах
камень дробит,
кто доски сбивает,
шьет платье,
сахарный рубит тростник,
землю долбит.
Поэтому я и хочу,
чтоб дышали они.
Все, что есть у них, — ты.
Оттого и прозрачен ты:
чтоб видеть могли они
то, что завтра придет;
ради этого и существуешь ты,

воздух!

Дай тобою дышать,
не давай заковать себя в цепи,
не верь никому
из тех, кто приедет на автомобиле,
чтоб тебя расцепить.

Скройся от них,
смейся над ними,
шляпы с них сбрось,
не принимай никаких предложений

от них.

Вместе с тобой мы пойдем
по свету, танцуя,
с яблонь сбивая цветы,
в окна входя
и насвистывая
песни

прошедших и будущих дней.

День придет, он, конечно, придет:
освободим мы
воду и свет,
человека и землю.

Все будет — для всех,
как ты.

Но пока

берегись

и со мною иди.

Нам с тобою придется немало
петь и вдвоем танцевать.

Мы пойдем

в морские просторы,
на горы поднимемся вместе.

Мы с тобою пойдем

к новой весне —

она расцветает уже, —

и дыханием ветра

и песни

будем мы раздавать

цветы, ароматы, плоды

и воздух

грядущего дня».

ОДА СЧАСТЛИВОМУ ДНЮ

На сей раз позвольте мне
быть счастливым;
ни с кем ничего не произошло,
я никуда не попал,
случилось только одно:
я счастлив
на все четыре стороны сердца,
расхаживаю ли,
сплю или пишу.
Что поделаешь, я
счастлив,
меня больше,
чем травы на лугу,
мир ощущаю всей кожей,
словно древесной корой,
волны у ног,
птицы над головой
и море — точно кольцо
у меня на поясе,
земля
сотворена из хлеба и камня,
воздух поет, как гитара.

Ты рядом со мной, на песке,
ты — песок,
ты поешь, и ты — песнь,
мир сегодня —
это моя душа,
песнь и песок,
мир сегодня —
это твой рот,
пусть мне позволят
на песке, целуя твой рот,
быть счастливым
просто так, потому что дышу
и потому что ты дышишь,
потому что, когда ласкаю
твое колено, —
словно трогаю
свежую
лазурную плоть небес.

Сегодня позвольте мне,
именно мне,

быть счастливым
вместе со всеми или наедине,
быть счастливым
вместе с травой и песком,
быть счастливым
вместе с воздухом и землей,
быть счастливым
с тобой, с твоими губами,
быть счастливым.

ОДА МОРЮ

Открывается с острова
море.
И сколько же моря!
В любое мгновение оно
из себя самого выливается.
Говорит «да» и «нет»,
«Нет, нет, нет!».
«Да», — говорит синевой,
пеной и бегом волны.
И тут же бросает: «Нет, нет!»
Не под силу ему оставаться спокойным.
«Море — имя мое», — повторяет оно,
ударяя по камню,
и не может его убедить.
Тогда
семью языками зелеными
семи зеленых собак,
семи ягуаров зеленых,
семи зеленых морей
океан пробегает по камню, целует его,
увлажняет
и бьет себя в грудь,
имя свое повторяя.
О море, да, да, это имя твое!
Океан, о товарищ!
Не трать же ни времени зря, ни воды.
Не будь неприступен!
Помоги нам!
Мы — крохотные
рыбаки,
берега люди.
Знаем холод и голод.

Ты — наш враг.
Не бей же так сильно!
Не реви так ужасно!
Открой свой зеленый ларец
и всем нам,
всем и каждому
дай нам в руки
свой серебряный дар:
рыбу насущную нашу.

Здесь в каждом доме
мы любим ее,
будь она из серебра
или из лунных лучей.
Она родилась
для бедных земных очагов.
Жадный,
не прячь ее в волнах своих,
холодную, быструю,
как влажная молния.
Подойди,
и раскройся,
и оставь ее недалеко,
от рук наших недалеко.
Помоги, океан,
отец наш зеленый, глубокий,
чтобы прожили мы до конца
этот день нищеты на земле.
Дай нам снять урожай
с бескрайних полей,
где ты столько жизней взрастил;
дай нам твой виноград, и пшеницу,
и скот, и металлы,
и влажное великолепье
и открой нам подводные недра свои.

Океан, ты отец наш, мы знаем
имя твое:
на песке его чайки выводят.
Так веди же себя хорошо,
не трясись своей гривой,
не грози никому,
не ломай свои зубы о небо;
на минуту забудь
славные были свои



и дай нам —
мужчине каждому,
женщине каждой,
ребенку каждому —
рыбу, большую иль малую,
но насущную.
Выйди на улицы мира,
на каждую улицу,
чтобы рыбу раздать,
и при этом
реви
и зови,
чтобы труженики, бедняки
все услышали тебя
и сказали,
из шахты своей выходя:
«Там старое море пришло,
чтобы рыбу раздать».
И вниз возвратятся они,
в темноту,
улыбаясь.
И на улицах всех и в лесах
человек и земля улыбнутся
улыбкой морской.
Но
если ты не захочешь,
если не понравится это тебе,
подожди,
подожди нас.
В первую очередь
мы устроим людские дела,
дела человека:
то, что важнее, — сперва,
а потом — остальное.
И тогда
мы волны разрежем
ножом огненным,
на коне электрическом
вспрыгнем на пену,
с песней
мы вглубь погрузимся,
до самого дна твоего.
Атомной нитью
мы опояшем тебя.
Мы посадим

в подводном саду
растенья
из цемента и стали.
Мы свяжем тебя
по рукам и ногам.
Люди по шкуре твоей
будут ходить и поплевывать под ноги,
клады твои вырывая из самого дна,
взнуздав,
оседлав и смирив тебя,
покорив твою душу.
Но это наступит, когда
мы, люди,
наши вопросы решим —
большие,
великие наши вопросы.
Мало-помалу
мы все разрешим вопросы.
Мы заставим тебя, океан,
и тебя мы заставим, земля,
творить чудеса,
потому что мы сами
и наша борьба —
это чудо.

ОДА ОГНЮ

Нечесанный огонь,
подвижник,
стоглазый слепец,
медлительный, внезапный,
языкатый,
золототканая звезда,
вор древесины,
молчун разбойник,
повар лукового супа,
жонглирующий искрами плутишка.
тысячезубый, бешеный кобель,
послушай,
центр очагов,
невянущий розарий,
крушитель жизней,
отец небесный горна и пекарни,
пресветлый праотец

подков и колеса,
пыльца металлов,
основатель стали,
послушай,
огонь!

Пылает твое имя,
и молвить
«огонь»
намного слаще,
чем молвить «камень»
или «мукá».
Мертвеют все слова
перед твоим лучом янтарным,
перед хвостом пунцовым
и перед амарантовою гривой, —
слова становятся ледышками.
Но стоит вымолвить «огонь»,
«огонь», «огонь»,
как что-то
воспламеняется во рту,
пылает плод,
лавр полыхает.

Но ты не только
слово (хотя слова,
лишившись внутреннего жара,
жухнут и падают в безвестье
с древа времени), —
ты и цветок,
и взлет,
итог, охват,
неосязаемая материя,
ты разрушение и насилие,
ты соглядатай,
бушующие крылья жизни
и смерти,
рождение и пепел,
ты ослепляющая молния
и многоглазый меч,
могущество,
внезапный зной и осень,
и хриплый
рев пороха, и грохот
горного обвала,

ты дымная река,
мрак, тишина.

Куда ты делся?
Лишь пепел остается
от твоих костров,
а на руках
цветы ожогов.
Но вот ты оказался
на чистом листе бумаги,
и я решил тебя воспеть,
ты слышишь,
огонь,
повремени,
замри,
пока я лиру отыщу
в каморке
и фотокамеру,
чтоб черной вспышкой
тебя запечатлеть.

Теперь ты рядом.
Не для того,
чтобы меня спалить,
не для того, чтоб мог я
трубку раскурить,
а чтобы мог потрогать,
погладить
все волосы твои и каждую
из грозных прядок,
чистить, дразнить тебя,
чтоб ты меня бодал,
пунцовый бык!
Ну?
Обожги
меня,
ворвись
в мои напевы,
беги
по жилам,
вырвись изо рта!

Вот видишь,
ты меня
не одолел:

я обуздал тебя
и превратил в напев,
я возношу тебя, и низвергаю,
и заточаю в мои слова,
заковываю, заставляю
свистеть
и щелкать,
как канарейку
в клетке.

Не ослепляй меня
багряным опереньем
адской птицы.
Ты мною
осужден
на жизнь и смерть.
Я замолчу —
и ты погаснешь.

Я запою —
и ты возникнешь,
и дашь мне весь необходимый свет,
Из всех моих
друзей,
из всех
врагов —
ты самый
норовистый.
Все держат тебя
на привязи,
карманный дьявол,
ураган, запятанный
в коробки и декреты.
Я — нет.
Я вывожу тебя
без поводка,
я говорю: а ну-ка
покажи,
на что способен?
Очнись, тряхни
свалившейся
копной волос,
взбеги, зажги
свод неба.

И обнажи передо мною
тело
оранжево-зеленое,
и распахни
свои знамена,
пылай
над миром,
но рядом со мною будь смирнее
бледного топаза,
гляди в глаза мне,
поспи немного
и вновь лети по лестницам,
беги бессчетными ногами.
Следи за мной,
живи во мне,
чтоб я писал тобою,
чтоб ты моими пел словами
на свой манер, —
пылая!

ОДА КНИГЕ

Книга, закрыв тебя,
я открываю жизнь.
Я вслушиваюсь
в сдавленные крики порта.
Слитки меди
пересекают пески,
спускаясь к Токопилье.
Полночь.
Наш океан
трепещет рыбой
между островами,
прикасаясь к ногам
и бедрам,
к известковым ребрам
моей отчизны.
На берега накатывает ночь,
а с первым светом дня
моя страна звенит,
как пробужденная гитара.

Меня зовет гремящий
океан, зовет

звонящий ветер,
зовет Родригес,
Хосе Антонио,
приносят телеграмму
от профсоюза «Шахта»,
а та, которую я так люблю
(я не скажу вам ее имя),
ждет в Букалему.

Книга, ты не смогла меня заклеить
бумагой,
запечатать
типографской краской,
ослепить
сияющими оттисками,
сброшюровать мои глаза, —
я вырываюсь из твоих обложек
в леса, чтоб огласить их
хриплой стаей слов,
и разливаю в кузницах металл,
ем жареное мясо у ног вулканов.
Я люблю книги
с натурой следопытов,
книги с лесом (или снегом),
с бездной океана (или неба),
и ненавижу
паучьи книги,
где ядовитый ум
развесил паутину
колючей проволоки,
чтобы поймать
веселую звенящую пчелу.
Книга, оставь меня
свободным.
Не хочу
застегиваться в переплет.
Я живу не в томе, а в доме,
мои стихи не пожирали стихов,
а пожирали
горячие события,
питались непогодой,
добывали пищу
в земных просторах, среди людей.
Книга, не разлучай меня с дорогой,
с пылью на башмаках,

не связывай своими мифами,
вернись в библиотеку,
а я вернусь на улицу.

Я жизнь учил по жизни,
с первого же поцелуя
постиг любовь,
я никого и ничему не научил,
кроме того, чему я научился,
прожив жизнь,
похожий на других людей,
сражаясь вместе с ними,
высказываясь за всех в стихах.

ИЗ КНИГИ
«НОВЫЕ ОДЫ ИЗНАЧАЛЬНЫМ ВЕЩАМ»
(1956)

ОДА ГЛАЗУ

Ты всемогущ,
но легкая песчинка,
комарья лапка,
мельчайший полумиллиграмм
пылинки
попали в правый глаз —
и мир поплыл, померк,
и улицы
гармошкой,
а здания подернулись туманом,
твоя подруга, дети и еда
переменили цвет и стали
не то тарантулом, не то кустом.

Оберегай свой глаз!

Глаз,
маленький волшебный
шар,
ты в нашей глуби,
как добрый
малютка спрут,
из мрака добываешь
свет,
жемчужная реторта,
агатový магнит,
машинка,
моментальнее всего и всех,
порывистый фотограф,
французский живописец,
оторопелый
первооткрыватель.
Глаз,

ты дал огласку
свету изумруда,
средишь
за набуханием
апельсина
и контролируешь
устав зари,
соразмеряешь,
предупреждаешь об опасности,
спешишь к сиянию
незнакомых глаз
(и в сердце разгорается огонь!)
и, словно миллионолетний
моллюск,
весь поджимаешься,
когда тебя ужалит
кислота,
читаешь
банкирские гроссбухи
и алфавит
застенчивых учеников
в колледжах Парагвая,
Турции и Мальты,
читаешь списки
и романы,
охватываешь волны и ручьи,
всю географию,
исследуешь
и узнаешь свой флаг
среди других
в древнейшем море,
и берегаешь тонущему
синейший из портретов
неба,
а ночью
крошечное твое окошко,
закрываясь,
открывается вовнутрь —
в тоннель, ведущий
к расплывчатой отчизне
сновидений.

В селитряной пустыне
я видел мертвеца,

он был
одним из сыновей селитры,
братом песка.
Во время забастовки,
когда он полдничал
с друзьями,
его убили,
и люди
в его крови,
которая опять
в песок вернулась,
смочили свои знамена
и по суровой пампе
побрели —
и пели,
бросив вызов палачам.
Я наклонился, чтобы прикоснуться
к его лицу,
и вдруг увидел
в его умерших
зрачках
запечатленное навеки
живое знамя,
которое несли
в сражение
его поющие друзья, —
там,
как в колодце
всей человечьей
бесконечности,
я вдруг увидел
багряный этот стяг,
похожий на пурпурный костер,
на вечную
гвоздику.

Глаз,
тебя не доставало
моей песне,
и однажды,
когда я снова вышел
к океану,
чтоб тронуть струны лиры
и оды,

ты мне учтиво
дал понять, насколько
я близорук:
я любовался жизнью и землей,
все видел, не видя собственного глаза!
И ты позволил
атому пылинки
попасть
под веко.
И помутилось зрение.
Мир
почернел!
И окулист в скафандре
направил на меня свой луч
и капнул
адской каплей
(как на устрицу)
на мой зрачок.
Потом,
когда вернулось зрение,
задумавшись
(и восхищаясь
просторными вечерними глазами
моей подруги),
я стер свою неблагодарность
этой одой,
которую сейчас читают
твои неизвестные
глаза.

ОДА ЗАПАХУ ДРОВ

Вечером,
когда раскрылись
в прохладе звезды,
я отворил дверь.
Море
скакало в ночи.

И, словно рука
из темного дома,
появился напряженный
запах
сложенных дров.

Зримый запах,
словно
дерево
было живым,
до сих пор трепетало.

Зримый,
как одеянье.

Зримый,
как упавшая ветка.

Я бродил
из комнаты
в комнату,
окруженный этой
бальзамической мглой.
Снаружи,
словно намагниченные
минералы,
поблескивали
острия неба,
а дровяной
запах
трогал
сердце,
словно рука,
жасмин,
беглое воспоминанье.

Это был не терпкий запах
сосны,
нет,
это была не рана
на эвкалиптовой
коже,
не зеленая эссенция
лоз,
а
нечто более скрытое,
потому что это благоухание
лишь один раз —
лишь единожды — существовало,
и здесь,
в моем собственном

доме, в ночи, возле зимнего моря,
после всего, что я видел в мире, —
именно здесь пришел ко мне
на свидание
запах
самой подземной розы,
срубленного сердца земли —
и это меня затопило,
словно Время плеснуло
волной,
которая пропитала меня,
когда я открыл
дверь ночи.

ОДА НОЧНОЙ ПРАЧКЕ

Сверху, с балкона,
смотрел я на прачку.
То было ночью.
Терла, и мыла,
и отжимала.
Руки ее то блестели от пены,
то в темноту
падали снова.
Прачку свеча озаряла.
Сверху, с балкона,
прачка казалась
островом жизни
в ночном океане.
В темном, и тихом,
и мертвом
казались живыми
только в белье
до локтей погруженные руки,
только движение,
подъем и паденье,
только мельканье
рук,
до локтей погруженных в белье и работу,
старых, измученных рук,
что стирают
ночью,
поздней ночью
это чужое белье;

руки стирали белье, и стирали
грязные пятна воспоминаний,
и выжимали
следы
непосильной работы
с вялых рубашек,
с усталых кальсон.
Руки стирали,
стирали, стирали
поздней ночью.

Прачка, случалось,
глаза поднимала,
спину она распрямляла, бывало;
только ее голова
подымалась над пеной —
сразу в ее волосах зажигались звезды,
все потому, что
ночь в волосах у нее
продолжалась;
было небо ночное,
волосы прачки,
звездочка свечки.
Руки ее зажигались от свечки
и возносили
горы белья;
то поднимаясь,
то опускаясь,
дыбили воздух,
воду,
живое, проворное мыло
и бесподобную пену.

Нет, я не слышал,
не слышал
шелест рубашек,
молча глядел я на прачку ночную.
Словно звезда одинокая
в небе полночном,
прачка ночная светилась, горела,
терла, и мыла,
и отжимала,
в зимнем молчанье
стирала
прачка ночная,

в холоде ночи — стирала,
в тяжелом и жестокосердном
холоде ночи
стирала и снова стирала
бедная прачка.

ОДА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКЕ

В моей стране проволока,
колючая проволока...

Ты тянешься, обводя
тонкое лезвие Чили,
с его птицами,
одинокчествами
и невозделанными просторами
во всю длину,
во всю ширину,
проволока,
колючая проволока...

В иных областях
планеты —
изобилие злаков,
переливаются волны
пшеницы
под ветром.

В иных краях
откормленные стада
оглашают луга
мычанием,
а здесь —
пустынные горы,
бескрайние дали,
ни людей,
ни коней,
только изгороди,
колючки
да праздные земли.

В иных частях света
громоздятся
капустные кочаны,
сыры,
колосятся хлеба,

дым
колышет над крышами
свой султан,
похожий на хохолок
перепела,
деревни
укрывают тела тракторов,
как насадки —
яйца:
там гнездится
надежда.
А здесь
земли
и земли,
онемевшие земли,
слепые земли,
бессердечные земли,
невспаханные.
В иных странах — сахар,
яблоки, хлеб...

В Чили — проволока,
колючая проволока...

ОДА СЛОВАРЮ

Рабочий вол,
нагруженный носильщик,
толстенная
систематическая книга,
я в молодости
знать тебя не знал:
самодовольный
всезнайка,
надутый,
как скупающая жаба,
однажды я изрек: «Слова
ко мне нисходят
с грохочущих небес,
я добываю их
при помощи алхимии.
Я — маг!»

А истинный — великий маг — молчал.

Словарь,
тяжелый, старый, в куртке
из потертой шкуры,
помалкивал и не совал под нос
свои пробирки.

Но как-то,
после того
как я его использовал
и так и этак,
объявлял
ненужным, ископаемым верблюдом,
когда он месяцами
служил мне, не артачась, сиденьем
или подушкой, —
он восстал,
и встал в дверях,
и стал расти, и шевелить листьями,
своими гнездами
и всей своей листвой:
и оказалось, что словарь
был деревом —
простой и доброй
грушей, грушевником,
грушевкой,
слова
поблескивали в его огромной кроне,
глухие, звонкие
и сочные, на ветках языка,
налитые созвучьями и правдой.

Я открываю
одну
из множества
его страниц:
капелла,
капюшон —
какое чудо
все эти слоги,
когда их произносишь нараспев,
а рядом
капсула — пустая,
заждавшаяся ароматных масел,
и тут же
капище, каприччио, каплун,

капот, капель —
слова скользящие и обтекаемые,
как нежный виноград,
взрывающиеся на свету,
как зернышки слепые,
дремавшие в амбаре словаря,
вновь оживают, продлевают жизнь,
послушные живому зову сердца.

Словарь, ты не гробница,
не гроб, не склеп,
не мавзоль, —
ты мудрое хранилище
и тайный свет,
плантация рубинов,
живейшее продление
сути,
словохранилище.
Так дивно отыскать
в твоих рядах
словцо
предтечи,
забытое,
но точное
понятье,
приплывшее от берегов Испании
и затвердевшее,
застывшее в своих пределах
состарившегося инструмента,
но вечное
в своей логичной красоте
и в твердости чеканной,
как плуг.
Или другое, затерянное
между строчек
слово, которое так нежно и внезапно
приходится по вкусу,
как смоква
или миндаль.

Словарь,
одна из тысяч твоих рук,
один из тысяч изумрудов,
одна-
единственная

капля
из девственных
твоих каскадов,
одно
из зерен
житницы бездонной
в наиважнейший миг
вдруг трогает
мои уста,
стекает с моего пера, сверкает
в моей чернильнице.
Из гулкой густоты твоих ветвей
дай мне, словарь,
когда понадобится,
трель одинокую
и золото пчелы
или сверкающую
шелушинку
твоей коры, благоухающей
столетьями жасмина, —
один простейший слог,
дрожанье, звук,
простое семечко:
землей рожденный, я пою словами.

ИЗ КНИГИ
«ТРЕТЬЯ КНИГА ОД»
(1957)

ОДА ВЕЛОСИПЕДУ

Я брел по дороге,
потрескивавшей
под солнцем,
которое лущило
свой горящий початок,
раскаленная земля
была похожа
на огромный круг,
а над ним —
необитаемое
синее небо.

Мимо меня
прошуршали
велосипеды,
единственные
насекомые
в этом сухом
мгновении
лета,
таинственные,
летучие
и прозрачные, —
они казались
легким дуновением
ветра.

Парни и девушки
спешили
на фабрики,
отдавая
глаза
лету,
а головы —

небу,
оседлав
стремительные
подкрылки
велосипедов,
которые, шурша,
проносились
по мосткам, розариям,
по ежевике
и полдню.

Я подумал о вечере,
когда парни
купаются, поют
и едят, поднимают
стакан
с вином
во славу
любви
и жизни,
а у порога
дремлет
неподвижный
велосипед,
потому что
душа его суть движение,
и, брошенный у дверей, —
он уже
не прозрачное
насекомое,
кроящее
зной,
а обычный
остывший
скелет,
который
обретает
свое бродячее тело
лишь в спешке
и дрожи лучей,
то есть
лишь
в мятежных
новорождениях
дня.

ОДА ПЧЕЛЕ

Множественность пчелы
снующей, вылетающей
из пурпура, голубизны,
желтизны,
из самой нежной
нежности мира,
стремительно
влетающей
в венчик,
по делу,
и вылетающей
в золотом облачении,
в бесчисленных
золотых башмачках.

Точеная
талия,
темные полосы
брюшка,
вечно
озабоченная
головка
и крылья,
только что сделанные
из воды, —
она влетает
во все ароматные окна,
отворяет
шелковистые двери,
входит в самые благоуханные
альковы любви,
спотыкается
на
капельке
росы,
на алмазе,
и из всех домов,
которые она
посещает,
уносит
таинственный
мед,
вкусный и веский

мед, густой аромат,
жидкую светящуюся капель,
пока не вернется
в свой
коллективный замок
и не оставит
в готических бойницах-сотах
продукт
цветка и полета,
робкое таинство солнечного
зачатья!

Множественность пчелы!
Священное
вознесение
единства,
школа
трепета!

Жужжит
звонящая
сумма,
творящая
нектар,
летят
скоростные
капли
амброзии, —
вот она,
сиеста лета,
в зеленой глухомани
Осорно *: в горах
солнце вонзает копьа
в снега,
поблескивают вулканы,
земля
необъятна,
как море,
голубеет пространство,
но есть
нечто трепещущее,
и это —
пекущее
сердце
лета,

сердце
неистощимого меда,
шумная
пчела,
шорох
улья —
жужжанье и золото.

Пчелы, непорочные
труженицы,
стрельчатые
работницы,
нежно сверкающие
пролетарки,
завершенное
отважное воинство,
чье оружие —
самоубийственное жало,
пойте,
звените
над земными дарами,
золотая семья,
воздушное множество,
сотрясай
цветочный пожар,
утоляй жажду роя,
пряди
тонкую нить
аромата,
сшивающего дни,
распространяй
мед,
облетая
влажные материки
и самые дальние острова
западного небосклона!
Пусть воск
воздвигнет
зеленые статуи,
а мед
прольет
бессчетные
струйки,
пусть океан
станет

одним большим
ульем,
а земля —
башней и туникой
цветов,
а мир —
водопадом,
гривой,
неостановимым
преумножением
сотов!

**ИЗ КНИГИ
«ЭСТРАВАГАРИО»
(1958)**

ПРОШУ ТИШИНЫ

Сейчас я прошу покоя.
Попробуйте без меня.

Я закрываю глаза.

Пять вещей мне нужны,
пять важнейших корней.

Во-первых, вечность любви.

Во-вторых, оглядывать осень.
Умру, если листья не будут
слетать, сливаться с землей.

В-третьих, глухая зима,
милый мой дождь и нежность
костра в студеном лесу.

В-четвертых, тихое лето,
круглое, словно арбуз.

В-пятых, твои глаза.
Матильда * моя, молитва,
без глаз твоих мне теперь
не спится и не живется, —
мне и весна не нужна,
когда ты глядишь на меня.

Друзья — вот все, что мне надо.
Ничто — и почти что все.

Теперь я вас не держу.

Я столько прожил, что вскоре
придется меня забыть —
стереть с доски мое сердце,
желавшее жить бессрочно.

Но я прошу тишины
не от предчувствия смерти:
со мной все это иначе —
я предчувствую жизнь.

Я есмь и быть продолжаю.

Просто внутри меня
накопит силы пшеница,
и зерна, раздвинув землю,
увидят над нею свет,
но наша земля-праматерь
темна, — темно и во мне:
я колодец, в чьи воды
полночь роняет звезды,
чтоб в поле уйти налегке.

Знаете, прожил я столько,
что хочу еще столько же.

Никогда я не был так звонок,
так богат поцелуями.

По-прежнему ясное утро.
Свет пасет своих пчел.

Оставьте меня с рассветом.
Позвольте снова родиться.

ГОРОД УЖЕ УШЕЛ

Подобно тому, как лениво идущие ходики
уверенно лакомятся вереницей годов, —
так беглые дни недолговечнее виноградин,
и месяцы выцветают на лозах времен.
В былое, в былое минуты летят, словно ядра
из дула во веки веков нержавеющей пушки:
уже нам лишь год остается на сборы, лишь месяц,
лишь день — и на численнике объявляется смерть.

Никто не сумел запрудить эту вечную воду,
не смог задержаться ценою любви или мысли —
течет человек между солнцами и сердцами
и ранит нам душу своею последней строфой.

Вот так, обессилив, мы канем однажды во время,
оно нас унесит, уже мы ушли, омертвели,
отныне нас нет, даже тень испаряется наша:
ни слова, ни праха, все там остается навеки,
и в городе нашем, в котором нам больше не жить,
пустыми остались костюмы и наша гордыня.

СКАТЕРТЬ НА ВСЕХ

Когда позвали к столу,
тираны заторопили
своих случайных кокоток,
и было смешно смотреть
на этих грудастых ос,
спешащих в компании бледных
и жалких общественных тигров.

Краюху черствого хлеба
съел пахарь в открытом поле,
один на один с закатом.
Вокруг желтели хлеба,
но не было больше хлеба,
он съел его жадным ртом,
глазами жадными съел.

В синюю пору обеда,
в неторопливую пору,
когда румянится мясо,
поэт, отстраняя лиру,
нож достает и вилку,
и ставит на стол стакан,
и рыбаков созывает
к мелкому морю тарелки.

В кипящем масляном пекле
картофелины негодуют,
барашек на углях — золото,
снимает одежды лук.
Тягостно есть во фраке,

словно ты ешь в гробу,
в монастырях еще хуже —
это обед в могиле.
Горько есть одному,
но не есть — это бездна,
зеленая пустота,
шип, цепочка крючков
от сердца к желудку — рана.
терзающая нутро.

Голод похож на клещи,
на разъяренных крабов,
он — ожог без огня:
голод — пожар холодный.
Давайте же сядем за стол
с теми, кто голодает,
покроем скатертью землю,
поставим солонки озер,
огромные хлебы до неба,
клубничные горы со льда
и блюдо-луну, за которым
смогут все поместиться.

Сейчас я прошу одного:
справедливости завтрака.

СТРАХ

Все мне велят закаляться,
прыгать, играть в футбол,
бегать, плавать, летать.
Ну что ж...

Все твердят — отдохни,
уступают своих врачей
и глядят на меня со значеньем.
Что случилось?

Все советуют ездить,
уехать, приехать, не ездить,
умереть и не умирать.
Чудаки.

Все находят изъяны
в моих потрохах, уточненных

рентгено-ужасными снимками.
Но позвольте!

Все тычут в мою поэзию
непобедимыми вилками,
как видно, в поисках мухи.
Я боюсь.

А боюсь я всего на свете,
холодной воды и смерти.
Ведь меня же нельзя отложить
на потом!

И в эти краткие дни
я отмахиваюсь от советов
и, открывшись, вновь запираюсь
со своим заклятым врагом
Пабло Нерудой.

СКОЛЬКО ВСЕГО СЛУЧАЕТСЯ ЗА ДЕНЬ

Мы завтра встретимся снова.

Все повзрослело за день:
уже продают виноград,
помидоры меняют кожу,
приглянувшаяся девчушка
больше не ходит в контору.

Вдруг почтальона сменили.
Письма уже не такие.

Осень листву золотит —
дерево стало банкиром.

Неужто старуха земля
настолько может меняться!

Вулканов прибавилось за день,
на небе новые тучи,
реки текут по-иному.

А сколько повсюду строек!
Я сам совершил открытие

сотен шоссе и зданий,
статных и чистых мостов,
похожих на бриги и скрипки.

Когда я при новой встрече
целую твой рот цветущий,
вкус поцелуя — другой,
и губы наши — другие.

Любовь, пусть здравствует всё,
что вянет и расцветает.

Здравствуй, вчера и сегодня,
послезавтра и позавчера.

Здравствуй, камень и хлеб,
здравствуй, костер и дождь.

То, что, рождаясь и тая,
становится вновь поцелуем.

То, что дарит нам воздух,
и то, что дарит земля.

Когда увядает жизнь,
нам остаются корни,
а ветер колюч, как злоба.

Тогда мы меняем кожу,
ногти, кровь и глаза.
Ты целуешь меня, и я
свет продаю на дорогах.

Пусть здравствует полночь, полдень
и четыре времени сердца.

ДАВАЙТЕ ВЫЙДЕМ

Однажды человек промолвил «да»,
не вникнув даже в существо вопроса,
и в тот же миг увяз и был увязан,
навек остался в этой упаковке, —

так мы однажды падаем в колодец —
проваливаемся в других людей,
одна веревка горло оплела,
другая ищет ногу, и — готово! —
уже мы движемся внутри тоннеля,
уже нам из других людей не выйти.

И кажется, что мы онемеем,
что есть слова, которые бегут,
вот и последние из них исчезли,
оставив нас в капканах и силках.

Вот тут-то нам и крышка: нам не ясно,
о чем ведется речь, но мы — внутри,
отныне мы на мир глядим не так,
как в пору детских игр, — уже погасли
глаза детей, а кисти наших рук —
лишь продолжение других предплечий.

И лишь во сне ты смотришь в одиночку
свой сон, летишь легко по галереям
твоих сугубо личных сновидений,
не дай нам бог, чтоб сны у нас украли
и крепко приторочили к постели.
Попробуем сберечь хотя бы тьму,
чтобы однажды из потемок наших
наружу выбраться, ощупать стены,
подкараулить свет, поймать его, —
вот так отныне, раз и навсегда,
мы завладеем всем насущным солнцем.

В ТЕ ДНИ

Туманы Юга и Севера
мне нацедили Запад,
так и текли те дни,
так в те дни все и плыло.

Себя я смело нарек
странствующим кабальеро
и напялил все шляпы,
девушек быстрых узнал,
ел песок и сардины,
беспрестанно женился.

Отнюдь не считая себя
ни королем, ни матросом,
все же скажу, что познал
приятнейшие ураганы,
что умираю от зависти
к тому, что было, — к богатству
и бедности тех недель,
где были и голод-кормилец,
и башмаки-пролазы,
без стука входившие в дом.

Радость тем грандиозна,
что имеет двойное дно.
Сегодняшним днем не прожить,
сегодня — как чемодан
с контрабандой часов,
сердцем живешь в грядущем,
а наслажденья в былом.

С курса на курс ложась,
я брел по жаре и стуже,
и даже то, что не видел,
вижу как наяву —
все тени, в которых плыл,
весь вежливый океан,
я брел, прилипая к скалам,
и засыпал на колючках
с достоинством дикаря,
живущего недостойно.

Зачем я все это вспомнил —
те области и минуты,
дым от былых костров?
Никого не должны трясти
чужие землетрясения,
всех в глубине души
коробит юность соседа.
И я не прощу прощенья.
Я там же, где и всегда.
Листвы на мне еще столько,
что, не хвастая вечностью,
могу хохотать досыта
над осенью и тобой.

ПАСТОРАЛЬ

Я подмечаю горы, реки, тучи
и, вынимая ручку, помечаю
взлетающую птицу, паука
в его ажурном шелковом цеху,
и это все, что мне на ум приходит:
я — ветер, обнимающий пшеницу,
я восторгаюсь птицей и пугливым
падением листка, округлым взглядом
оцепеневшей в озере плотвицы,
полетом легких статуй в облаках,
всей множественной целостью дождя.

Мне поддается лишь прозрачность лета,
лишь ветер удастся мне пропеть,
история грохочет, словно воз,
груженный саваном и орденами,
а мне одно лишь внятно — шум реки,
я остаюсь наедине с весной.

Пастух, пастух! Тебя зовут,
ты слышишь?

Я слышу, слышу, но у этих вод,
где, как сучки в костре, трещат сверчки,
хотя меня и ждут, я сам себя
хочу дожидаться, разглядеть себя,
понять, как чувствую себя на деле:
когда я свижусь сам с собой — я тут же
счастливым сном забудусь, как дитя.

СОНАТА С НЕСКОЛЬКИМИ СОСНАМИ

Прислоним усталое тело
к полунебу медленных дней,
забудем неверных друзей,
не знающих чувства жалости,
солнце колеблется в соснах,
забудем о темных невеждах,
есть зéмли внутри земли,
небольшие забытые родины,

забудем о весельчаках,
об их белозубых оскалах,

пусть отдыхают неженки
на стерильных своих диванах,

сойдемся поближе с камнями,
полными молний и тайн,

рассветем с изумрудным светом
и печальными поездами,

дотронемся до горизонта,
он сопутствует нам в дороге,

забудем на миг о людях,
которых кормят обидами,

деревья приоткрывают
полунебо, перекантованное

тросами сосен и сумерек,
и обезлиставшим воздухом,

забудем великодушно
тех, кому не до нас,

кто добывает огонь
и канет, как мы, в забытье,

нет ничего прекрасней,
чем восемь утра у прибоя,

собака нюхает море,
недоверчиво глядя на воду,

в то время, как волны спешат
в белых передничках в школу,

пахнет соленым солнцем,
а водоросли на песке
пахнут рождением и смертью.

Как объяснить смерть?
Куда нас тащат пройдохи?

Как славно, сменив сорочку,
кожу, зачес и работу,

познакомиться ближе с землей,
одарить жену поцелуями,

быть другом чистого ветра
и презирать олигархии,

когда из тумана в туман
я плыл, нахлобучив сомбреро,

не встречал я в пути всезнаек,
все были в пути озабочены,

все заняты были торговлей,
никто не спросил меня, кто я,

пока сам себя не узнал я,
пока не настиг улыбку,

забудем свою усталость
под полунебом и листьями,

поговорим с корнями,
с недовольными волнами,

забудем о скоростях,
об ощеренных пастьях дельцов,

забудем о мрачной возне
лукавых и злобных людей,

займемся земным ремеслом,
потрогаем сердцем землю.

В КОНЦЕ КОНЦОВ ОНИ УШЛИ

Все в мою дверь ломились,
унося меня по частям,
это был незнакомый народ,
издавна мне знакомый,
недружественные друзья,
я был им неинтересен.

Как быть, чтоб их не обидеть?

Я наполнил яствами блюда,
открыл стихи и бутылки,
и они усердно жевали
в распахнутой настее столовой.

Они деловито обшарили
углы, изучали вещи,
я заставлял их спящими
на моих фюлиантах,
они помыкали кухаркой
и лезли в мои дела.

Когда же меня обожгло
таинственным жаром любви,
и я — любя и томясь —
словно уснул и не спал, —
их караван распался,
сгинул с верблюдами вместе.

Теперь они стали злословить.
Живописные эти чистюли,
встречаясь, рыдали в голос,
усердно ломали головы —
как лучше меня уничтожить?
Кинжал предложила дама,
храбрец предпочел мортиру,
но с полуночным рвением
они на сплетне сошлись.

И стали рьяно трудиться
глазами, ртом и руками.
Кто я? Кто она? Когда?
По какому праву и как?
Они целомудренно рылись
в грязном белье догадок —
решили меня спасти
от алчущего вампира.
Они заметно осунулись:
я их выбросил из головы —
им осталось питаться вздохами.

Время шло — она не ушла.

Как всегда в подобных делах —
любовь убивает врагов.

Сейчас мне трудно их вспомнить, —
стоило им исчезнуть,
как память моя их стерла:
это были тесные туфли,
в конце концов их снимают.

Сегодня, в нежных потемках,
я лакоплюсь медом любви.
А их поглотила ночь —
моих незнакомых знакомцев.
недружелюбных друзей.

Они в мой дом не вернутся.

ТАКИЕ УЖ ОНИ ПОЛУЧАЮТСЯ

Он славным был человеком,
верил в свой плуг и заступ.
И занят был так, что во сне
не мог поразвлечься снами.

Он был мозолисто-беден.
А стоял — одну лошадь.

Сын его — где там! — стоит
дюжину автомобилей.

Беседует — как министр,
движенья его округлы,
забыв отца-землепашца,
открыл знаменитых предков,
мысли — из пухлой газеты,
все время делает деньги,
очень важен во сне.

Сыновей у сына — не счесть,
все они поженились,
не трудятся, но — жуют.
Стоят — миллион мышей.

Сыновья сыновей сына —
каким найдут этот мир?

Какая цена им — пшеница
или же саранча?

Не хочешь — не отвечай.

Вопросы не умирают.

ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДРУГ

Когда умирает твой друг,
он в тебе умирает вторично.

Он ищет тебя и находит,
чтобы ты его похоронил.

Мы о смерти его узнаем
в спешке, идя на работу,
за беседой или обедом.
Этот слух никого не потряс.
Все знали, что он страдал.
Он умер, и имя его
никто с земли не поднимет.

И все же пришел он, умерший,
чтоб его мы живым вспоминали.
Он заглядывал нам в глаза.
Мы делали вид, что не видим.
И тогда он ушел совсем:
все его разлюбили.

ЗВЕРИНЕЦ

Вот бы владеть языком
устриц, ящериц, птиц,
лисиц из Сельва-Оскуры
и образцовых пингвинов,
вот бы меня понимали
худые лохматые псы,
овцы и битюги,
поговорить бы с котами,
вызвать бы кур на спор!

До элегантных животных
мне нет никакого дела:

меня не интересует
точка зренья осы
и скаковой кобылы —
пусть себе охорашиваются,
облаченные в скорость!
Мне подавайте мух,
дворнягу с ее щенками,
неразговорчивых змей.

Едва раздобыл я ноги
для бессонного бега
в троекратных ночах,
я увязался за псами:
тощие побродяжки,
они спешат в тишине
в никаком направлении,
напрасно я тратил силы,
они мне не доверяли,
вот безмозглые твари,
упустили возможность
поделиться своей печалью,
вновь потрясти хвостами
по закоулкам видений.

Меня всегда занимал
эротический кролик:
кто возбужденно шепчет
в его скабрзные уши?
Он неустанно плодится,
плюет на святого Франциска,
не слушает наставлений,
как заводной — прыг да скок,
организм его неистощим.
Я бы с ним пообщался —
мне нравится этот плут.

Над пауком глумятся
на глупых своих страницах
сварливые упрощенцы
с психологией мухи:
он и палач, и обжора,
и похотлив, и коварен,
но ведь это сужденье
скорей говорит о судьях:
паучишко — конструктор

и часовщик волшебный,
идиоты его шельмуют
из-за какой-то мухи,
а я бы его попросил,
чтоб он мне выткал звезду.

Блохи столь совершенны,
что я их терплю часами,
они древнее санскрита,
точные, как механизм.
Кусают они не от жажды,
а чтобы выше прыгнуть,
они земные прыгуны,
изящные акробатки
в нежном и темном цирке —
пусть они скачут по мне,
чувства свои выражают,
тешатся моей кровью.
Нельзя ли нас познакомить,
чтобы лучше понять,
с кем я имею дело?

Со жвачными, к сожалению,
я не наладил связей —
хотя я и сам из жвачных,
они меня не понимают.
Поговорить бы об этом
с коровами на лугу,
узнать, что думает бык.
Я бы постиг немало
сугубо кишечных истин,
которые скрыты в нас,
как запретные страсти.

Что думает хряк о заре?
Он не поет, но держит
зарю на розовом теле,
на крепких коротких ножках.

Он телом зарю подпирает.

Птицы полночь клюют.

Мир пустынен, все спят —
люди, собаки, ветер,

но стоит похрюкать хряку —
и наступает утро.

Вот бы встретиться с ним.

Нежные звонкие хрипы
лягушек — моя мечта,
всегда мне правилась лужа
и волокнистые травы,
зеленое царство кресса
с лягушкой, хозяйкой неба.

Лягушечья серенада
на пользу моим виденьям,
она, как вьюнок, ползет
к тихим балконам детства,
к соскам кузины, к небесным
жасминам южного мрака,
но годы прошли, и сейчас
не спрашивайте о небе:
я так и не смог понять
хриплых песен лягушки.

Какой же поэт из меня,
если я не постиг
тысячеликую ночь!

В мире, немом и спешащем,
мне не хватает связей,
уз, языков и знаков
для постиженья земли.
Иные донельзя рады,
когда к ним ловко подводят
систематических женщин
и шустрых капиталистов.
А я хочу говорить
со всем многоликим миром,
я с этой земли не уйду,
не выяснив, что хочу,
не отгадав загадок,
мне мало одних людей —
хочу идти еще дальше,
подойти еще ближе.
Вот почему, сеньоры,
я говорю с конем,

пусть меня извинят
профессор и поэтесса,
я занят все эти дни,
я слушаю бормотанья.

Как звали того кота?

ОСЕННЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Поэт говорит о
своих врагах
и оставляет им
в наследство...

Меня разгрызли на части
злобные грызуны, —
казалось, с ними не сладить.
А я привык в океане
грызть огурцы потемок,
янтарь во всех его видах,
бродить по глухим поселкам
в моей кольчужной рубахе,
и вышло так, что меня
старательно убивали,
а я умирал от смеха.

Тем, кто меня усердно
облаивал, я оставляю
мои ресницы скитальца,
мое пристрастие к соли,
направление моей улыбки, —
пусть они все разумно
поделят, если сумеют:
я не дал им себя убить,
поэтому после смерти
я не смогу помешать
в мое белье облачаться,
разгуливать по воскресеньям
с моим расчлененным телом,
старательно лицемерить.
Раз я им так докучал,
они со мной разочтутся
и после смерти моей
носки мои опубликуют.

Что касается
других вещей...

Прижизненное добро
я отдал народу и партии.
Сейчас я совсем о другом —
о вещах, содержащих

свет и сумрак, — и все же
это цельные вещи.

Это — как виноград
с его двумя крепышами —
светлым вином и красным:
жизнь светла и красна,
в ясности есть и тени.
Не все — земля и кирпич,
есть в наследстве моем
сумрак и сновиденья...

Поэт отвечает
некоторым до-
брожелателям...

Однажды у меня спросили:
зачем пишу я так темно?
Спросили бы у темной ночи,
у минерала и у корня.
Я не нашелся, что ответить.
А позже на меня напали
два непутевых знатока:
зачем пишу я так прозрачно?
Сказали бы реке об этом.
Я дальше тек и пел в камнях.

Поэт распоря-
жается своими
печалями...

Кому я оставляю всю эту
радость, проросшую в жилах,
природный дар благодатный —
возможность быть и не быть?
Я был бесконечной рекой,
в которой камни звенели
ясными звонами ночи,
темными песнями дня.
Кому я оставляю всю эту
грандиозность и малость,
беспричинную радость?
Лошадь, плывущую в море?..
Сотканный ветром ковер?..

Поэт распоря-
жается своими
радостями...

Тем, кто мучил меня,
я муки свои завещаю,
хоть я и забыл о них,
не помню, где их оставил:
быть может, они в чащобе
карабкаются, как плющ,
растут, стараются быть
вровень с тобой и с ветром,

и чтобы муки не стали
выше тебя, ты должен
переменить весну...

Поэт высказы-
вается против
ненависти...

Я брел, приближаясь к злобе,
ее лихорадка всерьез,
безумны ее порывы.
Злоба — как рыба-меч,
которая в мутной воде
вонзает исподтишка
свой окровавленный нож.
Она боится лишь света.

Стоит ли ненавидеть
тех, кто нас ненавидел?
Таясь под водой, они
подстерегают нас
с мечом своим и отравой,
с паутиной и тиной.
И все же злость, как всегда,
проигрывает сражение.
Дело тут не в любви
к ближнему, не в молитвах, —
на ядовитых базарах
облезает ее чешуя,
а солнце все так же восходит,
а ты продолжаешь трудиться,
покупаешь хлеб и вино!..

В своем заве-
щании поэт по-
лагает...

Я ненависти оставляю
мои подковы коня,
парус моей рубахи,
бродячьи мои башмаки,
плотничье мое сердце —
все, что умел я делать,
что помогало в страданье,
все, что было во мне
от чистоты и упрямства,
цельности и скитаний.
Пора бы понять, что люди —
хозяева рек и лесов
могут рубить и плыть,
могут уйти и прийти,
могут страдать и любить,

могут дрожать и работать,
могут быть и продлиться,
могут цвести и отцвести,
могут быть светом и мглой,
могут лишаться слуха,
могут выстоять в горе,
могут дожидаться цветка, —
в общем и целом, мы можем
быть на этой земле,
хоть этого и не хотят
иные сукины дети.

Заключитель -
ные пожела-
ния...

Здесь, после стольких прощаний,
я с вами прощаюсь, сеньоры.

И так как я ничего
вам не оставил, прошу вас —
возьмите что-нибудь сами.
Моя жестокость, и желчь,
и ярость моя легли
в землю, чтобы воскреснуть,
а лепестки добра
упали, как звон колокольный,
в зеленую глотку ветра.
Но я с лихвой возвращал
нежность друзей и чужих.
Доброта меня привечала
всюду, где я бывал,
я всюду ее находил
тысячекратным сердцем.
Сколько целебных границ
лечили мое изгнание!
Делили со мной еду,
опасность, приют и вино!
Мне мир распахнул свои
аллеи, и я в него
прошел сквозь шеренги любви.
Юг мне припас друзей
столько же, сколько Север,
а на Востоке их столько,
что яблоку негде упасть.

А сколько на Западе их!
Не перечислить зерен.
Не подсчитать, не назвать
всех дружественных созвездий.

В Америке, сотрясенной
ночными обвалами злобы,
я каждой луне знаком,
с каждой дорогой на «ты».
В глинобитных селеньях,
в городах железобетонных,
может быть, и найдется
какой-нибудь старый Клен,
с которым мы не знакомы, —
но мы с ним братья по крови!
Повсюду я находил
дикий медвежий мед,
всплывающую весну,
добрый слиток слона, —
я этим обязан друзьям,
моей хрустальной родне.
Народ меня опознал,
и стал я навек народом.
Я на ладони взвесил
архипелаги мира,
и, так как я не отступник,
не отрекусь от сердца,
от раковин и от звезд!

Поэт заканчи-
вает свою кни-
гу, размышляя
о своих разно-
образных пре-
вращениях, и
подтверждает
свою веру в
поэзию...

От стольких рождений мне
достался соленый опыт.
Дитя океана, я полон
небесными атавизмами,
предначертаньями гор.
Так я и движусь, не зная,
в какой из миров я вернусь,
останусь ли в этом мире.
А покамест улита едет,
вот вам мои показанья —
парусник «Эстрадагарио»,
чтобы, читая его
и ничего не вычитав,
вы бы постигли вечный
двигатель человека:
всю ясность мою и смутность,
дождливость мою и радость,
мой ураган и осень.
Сейчас за этим листком
ухожу я, не исчезая:
я просто ныряю в прозрачность

пловцом, рассекающим небо,
и, вновь начиная расти,
настолько маленьким стану,
что ветер меня унесет,
и я забуду, как звался,
и, вновь проснувшись, исчезну —
буду петь тишиной.

ИЗ КНИГИ «ПЛАВАНИЯ И ВОЗВРАЩЕНИЯ» (1959)

ОДА ЯКОРИЮ

Он был там, увесистый,
быстро бегущий обломок;
когда судно погибло, —
погибели нет на него, —
он остался лежать на песке.
Остов, не знающий смерти, покрыло соленою пылью, —
заржавел он, как подкова, потерянная конем,
зеленое старое время легло на крестец надежды,
его суверенное право забвеньем занесено.

Когда он был поднят другом
из плена песков безнадежных,
он на мгновение поверил,
что ждет его трепет судна,
что ждет его музыка цепи,
что он возвратится в волны,
возвратится в грохот морей.

От света Антофагасты
он шел по огромному морю,
но был он смертельно ранен
и не был привязан к носу,
не скользил по горькой воде.
Израненный, спящий странник,
скиталец, бредущий к югу,
не слушал биения крови,
не ощущал движенья,
от поцелуя бездны ни разу не задрожал.

В Сан-Антонио * у причала
его положили в кузов,
и по холмам несуровым повез его грузовик.
Он ехал по-прежнему гордый,

пересекая реки,
октябрьские ароматы,
сети благоуханий,
легкие ткани жизни,
струящиеся одежды
царствования весны.
В моем саду на обрыве
от плаваний он отдыхает
перед лицом океана,
который рубил, как меч.
Он спит, но мало-помалу
вьюнки подбираются ближе
лукавой свежестью жизни
к этим железным рукам;
и, может быть, в сны земные
ворвутся и вспыхнут гвоздики,
но море его не разбудит,
он пришел, чтобы вечно спать.

Уже никакой корабль не выйдет в открытое море,
нигде он не бросит якорь,
нигде не станет на якорь,
разве в последней бухте моих невеселых снов.

ОДА ВОДАМ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА

Воды Севера, — здесь
купается низкое небо.
Все разрешилось в этой
смеркшейся белизне,
на замызганных горизонтах,
в пепельной пустоте.

А судно плывет, стрижет
космы моря, а судно
плывет, плывет и плывет,
оскальзываясь на тумане,
невесомое, словно птица,
присужденная к тишине...

ОДА ВОДАМ ПОРТА

Ничего морского в водах порта:
ящики, изломанные в щепки,
шляпа старая,
гнилые фрукты.
Надо всем — недвижимые птицы,
черные большие сторожа.
Море отдало себя отбросам —
лепестки увядшей наперстянки,
капельки оранжевого масла
словно отпечатались в воде;
будто кто-то по воде протопал
маслеными жирными ногами
и следы оставил на волнах.
Пена,
о божественная пена,
суп богини,
мыло Афродиты!
О божественном происхожденье
пена позабыла навсегда.
Жалкая и траурная кромка,
задний дворик маленькой харчевни,
черная зловонная капуста,
листья, кочерыжки, кочаны.

Надо всем сидят большие птицы,
черные торжественные птицы,
крылья их
как острые кинжалы,
но они не режут высоту.
Эти птицы больше не летают;
словно бы приколотые к тучам,
ножницы зловещей литургии
независимо и гордо ждут.
Море, позабывшее о море,
обо всем морском по самой сути,
воды порта,
маленькие воды,
вы бежали в страхе с поля боя
и теперь сдаете тут экзамен
комитету этих черных птиц.
Эти нелетающие птицы,
к облакам приколотые крылья,
бронированные равнодушьем,

безучастно дремлют над водой.
Грязная вода колышет сонно
жалкий сор —
презренное наследство
кораблей, ушедших в океан.

ОДА ЛЕНИНУ

Революции 40 лет.
Это возраст юности зрелой.
Это возраст прекраснейших матерей.

Когда родилась она,
по-разному в мире
о том узнавали.

«Что же это такое? — епископы вопрошали. —
Земля покачнулась,
мы не можем по-прежнему небо распродавать».

Правительства старой Европы
и оскорбленной жестоко Америки,
диктаторы, мрачные, черные, смутные,
в молчанье читали
тревожные сообщения.
По мягким по внутренним лестницам
поднималась депеша,
как жар поднимается в градуснике,
и не было больше сомнений:
народ победил,
мир изменялся.

I

Ленин! Чтоб петь о тебе,
со словами я должен проститься.
Должен писать я деревьями, злаками,
плугом, колесами.
Ты звучен и точен, как факты,
как земля.
Не было никогда
человека такого земного,
как Владимир Ульянов.
Есть люди высокого роста,

они привыкают —
как церкви к тому привыкают —
разговаривать с облаками;
это люди высокие и одинокие.

У Ленина был договор с землею.

Он видел дальше, чем кто бы то ни было.
Реки, горы и степи
были для него открытою книгой —
ее он читал.

Читал — дальше всех,
понимал — больше всех.
Взглядом он проникал глубоко
в народ, в человека;
он глядел в человека, как будто в колодец;
он глядел в человека,
как если бы был человек
минералом еще неизвестным,
который он, Ленин, открыл
и должен теперь извлечь
динамический свет минерала
из тайных сокровищ народов,
чтоб все проросло и родилось,
чтоб стали народы достойными времени и земли.

II

Осторожно! Не спутай его с инженером холодным.
Осторожно! Не спутай его с мистиком пылким.
Пылал его разум, но не обращался он в пепел,
и смерть не смогла остудить его пылкое сердце.

III

Я люблю вспоминать, как ты рыбу в Разливе ловил,
а прозрачные воды вокруг — словно зеркальце,
брошенное в траве
холодного осеребренного севера.
Нелюдимое одиночество,
растенья измучены ночью и снегом,
ветра арктический свист в твоей хижине.
Я вижу, как слушает Ленин
капли воды, и полет
горлинок,

и могучее сердцебиение чистого леса.
Ленин внимательно слушает лес и слушает жизнь,
он слушает ветра шаги и шаги истории
в торжественности природы.

IX

Ленин! Спасибо
за энергию и ученье.
Спасибо за твердость,
за Ленинград и за целину,
за битву, за мир
за бесконечность зерна и за школы,
за солдат твоих — малых титанов.
Спасибо за воздух, которым дышу на земле твоей, —
он непохож на другой:
это — благоуханье пространства,
электричество гор голубых!

Ленин! Спасибо
за хлеб и надежду!

ИЗ КНИГИ «СТО СОНЕТОВ О ЛЮБВИ» (1959)

УТРО

I

Имя растенья, вина или камня — Матильда.
Имя того, что рождается и существует.
Слово, в чьем росте внезапно рассвет наступает,
слово, в чьем лете взрывается пламя лимонов.

В имени этом бегут деревянные шхуны
в синем сигнальном огне беспредельного моря,
буквы его — это светлые струи речные,
те, что впадают в мое обывзвествленное сердце.

Имя, которое я под вьюнками нашарил,
словно бы двери подземного тайного хода,
хода, ведущего к благоуханию мира!
О, затопи меня, ртом обжигающим рухни,
высмотри душу своими ночными глазами,
но разреши в твоём имени плавать и сном забываться.

VIII

Если б глаза твои не были цвета луны,
цвета дня с его глиной, огнем и работой,
если бы воздух не был в плену у тебя,
если бы ты не была янтарной неделей,

если бы желтым мгновением ты не была,
мигом, когда по плющу поднимается осень,
если бы ты не была хлебом, который луна
так ароматно печет, по небу муку рассыпая,

Ах, дорогая, я не любил бы тебя!
Я обнимаю в тебе все, что вокруг существует:
время, песок, ароматное древо дождя;

все, что живет для того, чтобы жил я на свете, —
все я увидеть могу, не уходя далеко:
все, что на свете живет, вижу я в жизни твоей.

XV

Давным-давно земля тебя узнала,
упругую, как хлеб и древесина.
В тебе весомость виноградной грозди,
акаций и золотых плодов.

Твои глаза — распахнутые окна —
все в мире озаряют ярким светом.
Ты — слепленная из чильянской * глины,
обожжена в печи из красных кирпичей.

Все в мире зыбко: воздух, холод, влага;
все исчезает, времени касаясь,
искрошенное им еще до смерти.

Ты упадешь со мной могильным камнем,
но долго-долго будет жить земля
живой и неизбывною любовью.

XXIV

Любовь, любовь, на башню неба тучи
взошли, как торжествующие прачки,
все стало синим, превратилось в звезды:
корабль, море, день — куда-то все исчезло.

Взгляни на яркие черешни влаги,
вглядись в отгадку мчащейся вселенной,
коснись огня, его мгновенной сини,
спеши, чтоб лепестки не облетели.

Нет ничего — лишь свет, величина да гроздь,
простор, открытый прямою ветра,
познание последних таинств пены.

Захлестнутые синевой небесной,
едва мы можем угадать глазами
власть воздуха, подводные ключи.

XXV

Пока тебя не было, любовь, не было у меня ничего,
и я колебался меж улицами и вещами.

Им не было счета, и не было имени им:
мир состоял из воздуха и ожидания.

Я знал салонов пепельный колорит,
тоннели, в которых луна обитала,
ангары, безжалостные в часы разлук,
на песке начертанные вопросы.

Все было мертвым, пустым и немым,
обычным, заброшенным и никчемным,
все было чуждым, и все отчуждало;

все принадлежало никому и другим,
пока твоя бедность и красота
не осыпали осень мою своими дарами.

XXVII

Ты так же проста, обнаженная, словно твоя рука,
гладкая и земная, круглая и сквозная,
в линиях лунных, в яблоневых путях,
ты так же тонка, обнаженная, как обнаженный колос.

Ты голуба, обнаженная, словно кубинская ночь,
звезды и плющ заплутались в твоих волосах.
Ты так золота, обнаженная, и так же огромна ты,
как в золотом храме летний огромный день.

Ты маленькая, обнаженная, как один из твоих ноготков,
гибкая, легкая, розовая, пока не рождается день, —
тогда в подземелье мира ты входишь, как в длинный
тоннель,

в тоннель, где много одежды, в тоннель, где много труда,
где ясность твоя погаснет, оденется, опадет
и станет опять всего лишь одной обнаженной рукой.

ДЕНЬ

XLIV

Не люблю и люблю, так и знай.
Жизнь — она ведь и то и другое.
Слово — это крыло тишины,
и огонь непонятен без стужи.

Я люблю для того, чтоб любить,
чтобы снова начать бесконечность,
чтоб не бросить любить никогда, —
вот за это тебя не люблю я.

Не люблю и люблю — словно я
обладаю ключами удачи
и предчувствием горькой судьбы.

Я две жизни живу, чтоб любить:
я люблю, когда я не люблю,
и когда я люблю, я люблю.

НОЧЬ

LXXXVIII

И снова март приходит с тайным светом,
и по небу скользят большие рыбы,
и мутный пар крадется, разрастаясь,
и в тишине предметы исчезают.

Случайно в этом воздухе бродячем
ты собрала жизнь моря и огня,
корабль зимы в его движение сером
и форму, что любовь навек дала гитаре.

О роза влажная, цветок сирен и пены,
любовь — огонь на лестнице незримой,
который гонит кровь в тоннель бессонниц.

чтоб уничтожили друг друга волны неба,
свои сокровища чтобы забыло море,
чтоб рухнул мир в темнеющую сеть!

XCIV

А если я умру, переживи меня
с такой неистовой и чистой силой,
неизгладимый взгляд от юга к югу брось,
от солнца к солнцу пусть твой рот звучит гитарой.

Я не хочу, чтобы слабел твой смех.
Будь радостью, она — мое наследство.
Не призывай меня. Меня на свете нет.
Живи в моем отсутствии, как в доме.

Огромен этот дом — отсутствие мое,
в него сквозь стены можешь ты войти
и в воздухе развешивать картины.

Прозрачен этот дом — отсутствие мое,
мне будет видно, как ты в нем живешь,
и если в горе, то умру я снова.

С

Разрою землю и, чтоб лучше видеть,
в сторонку отодвину изумруды,
и примешься ты подражать колосьям,
пером воды передавая вести.

Ах, что за мир! Как пышно разукрашен!
Какой корабль плывет по сладким водам!
И может статься, мы с тобой топазы!
И нет раздора меж колоколами.

Нет ничего — один свободный воздух,
один душистый яблоневый ветер,
заманчивая книга под ветвями,

и там, где дышат глубоко гвоздики,
мы создадим защитную одежду
для поцелуев, победивших вечность.

ИЗ КНИГИ
«ПЕСНЯ О ПОДВИГЕ»
(1960)

ГЕРОИЧЕСКОЕ ДЕЯНИЕ

Людская боль тонула в океане,
теперь на землю были все надежды,
и вот на берег высадились люди,
их кулаки ковались для победы.
Фидель, пятнадцать храбрых и свобода
ступили твердо на песок прибрежный
и свет, как знамя, подняли над Кубой,
и в траурной ночи рассвет забрезжил:
ведь свет был их единственным оружием, —
но был он погребен в глухие бездны...
К своей звезде они тянули руки,
в стене безмолвья пробивая бреши.
Усталые, но пылкие, сражались
они по зову совести и веры,
они сражались лишь своею кровью,
нагие, беззащитные, как дети.
Немного было их, но с их приходом
свобода Кубы родилась из пены.
А время шло. Высокие деянья
их облачили в одеянья Сьерры *,
и накормили хлебом безымянным,
и порох дали, чтоб достичь победы.
Они людей дремавших разбудили, —
проснулись в людях прежние обиды, —
и матери детей им доверяли,
а землепашцы поверяли беды.
И, как луна растет на небосводе,
росло, светлело это войско бедных,
оно в сраженьях частых не редело, —
ведь тростникам идут на пользу ветры,
а враг им оставлял свое оружие —
служили арсеналом им кюветы.
И падали под вешними лучами

дрожащие от страха изуверы —
смерть ордена на грудь им прикрепила,
просверливая пулями одежды.
Вот так росло движение свободных.
Оно поля омыло ветром свежим
и, пробуждая папши спящей Кубы,
звездой взмыло над морским безбрежьем.

**ИЗ КНИГИ
«КАМНИ ЧИЛИ»
(1961)**

ОТ ОДИНОЧЕСТВА К ОДИНОЧЕСТВУ

Идешь среди береговых камней
по самой кромке Чили,
а дальше — море, море,
луна, саргасо *, одинокая
планеты протяженность.

Разрытый громом берег,
подточенный зубами каждого рассвета,
смываемый движеньем протяженным
и времени и волн;
кружат такие медленные птицы,
цвет крыльев — цвет железа;
и вот понятно: здесь кончается земля.
Нет, этого никто не скажет, потому что
никто не существует;
и это не записано — здесь нет ни цифр, ни букв;
никто не проходил по темному песку —
он на пыльцу свинца похож.
Здесь родились скорбящие цветы,
растенья, что себя шипами выражают
или внезапными цветами
и яростными лепестками.
Нет, не сказал никто, что тверди больше нет,
что начинается здесь пустота,
старинная, защитная;
в ней — катастрофа, мрак,
и мрак, и мрак, и мрак.
Таков тот жесткий берег, по которому иду
на север и на запад, к одиночеству.

Прекрасна сила столкновенья, —
его вода и пена повторяют
на дальней той границе.

Здесь, как цветок, построена волна
и повторяет форму замка;
вот башня рухнула, дробится,
чтоб снова вырасти, дрожа,
как будто хочет населить
своею красотою темноту,
наполнить светом пропасть.

Идешь оттуда,
где антарктический финал,
по камню, по морю,
едва роняя слово,
а говорят одни глаза и отдыхают.

Без края одиночество;
оно подметено и холодом и ветром,
цепями, солью,
луной, землетрясеньем.
Я должен рассказать и о звезде беззубой,
что здесь разбилась на куски,
и подобрать осколки камня,
и говорить, когда вокруг нет никого, —
и говорить с никем, ни с кем не говорить,
быть и не быть в одном биенье:
я часовой
казармы без солдат —
большого одиночества:
оно полно камнями.

ИЗ КНИГИ «ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПЕСНИ» (1961)

КОНЕЦ КАРНАВАЛА

1

Вот и пролился ливень прямо на март,
прямо на ласточек, реющих в струях,
и опять у меня на столе — соленое море.
Все именно так, как задумали волны.
Именно так все было и будет.

Все будет именно так, но, незримый,
я однажды уже не смогу возвратиться.
Не вернутся глаза мои, мысли, ладони,
заплутавшие в истинной тьме.

2

С этого митинга, на который собралась уйма народу,
то один, то другой уходил в темноту, не прощаясь.
Собственно, именно так и бывает после собраний:
тают слова, расплываются лица и судьбы,
и каждый уходит сам по себе, своею дорогой,
и каждого эта дорога приводит на родину небытия.

3

Конец карнавала... Ливень над Исла Негра,
ливень над месивом тишины и над пеной,
искрящейся полюсом соли.
Все захлебнулось и замерло, кроме свечения моря.
«Куда мы идем?» — бормочет затопленный мир.
«Кто я такая?» — впервые спросила водоросль.
И волны одна за другой отвечают:
«В ритме падений и взлетов — начало, и гибель, и
возрождение,
движение — горькая истина жизни».

4

Необитаемые стихи на стыке осени и неба;
поэзия без пассажиров и транспортных расходов.

Хочу, чтобы строфы мои обезлюдели хоть на мгновение.
Не видеть бы на пустынном песке отметин, оставленных
человечеством:

мертвой бумаги, следов босоногой толпы, —
пусть останется только туман, матовый март и в бреду
голосающие птицы:

буревестники, пеликаны и чайки —
крылатая соль и протяжный
холодный ветер,
и, прежде чем задуматься и забыться,
прежде чем извести свое время на дело,
остаться бы наедине с одиночеством моря,
лицом к лицу с мокрым мартом и умираньем
лоснящегося лета; увидеть, как зреют кристаллы,
как прорастает гранит навстречу безмолвью,
как расточает себя океан, не убывающий в силе и сини.

5

Всю свою жизнь мы спрашиваем: сколько?
С пеленок читаем это «сколько» у родителей в глазах,
на губах и в ладонях: сколько стоит то,
сколько это, сколько за землю, за килограмм хлеба,
сколько за лучистый виноград, сколько за башмаки.
Сколько я вам за это должен? Припоминаю:
мы нарядились в улыбки,
а родители, робея в своей перелатаной одежде,
все не решались войти в магазин, во врата страшного
храма...

Да и потом, много позднее, было не лучше.

6

Эстеты не любят правоучений. Мораль умерла,
сгнуло время, когда стихи учили людей человечности
и озаряли душу вспышкой фиалки.
Поэтому я отвечаю только на два вопроса: на «где?»
и «каким образом?».

А между тем везде и самым страшным образом
мир истекает кровью, вопрошая:
сколько? И зреют зерна ярости
под этим «сколько?» на всех языках.

Если останусь я и теперь в стороне,
то окончательно стану старой, заигранной скрипкой,
трубадуром, предавшим сомнение и правду.

Долг, натуральный, как кровь, хлещущая из раны,
и даже желанный, как в конечном счете желанен свежий
ветер,
делает нас бойцами, учит командному голосу и строевому
шагу, но все же как нежно, с какой неизреченной тоской
зовут нас к себе стол, скатерть и ложка,
и в самый разгар войны нам чудится звон стаканов.
Но нет нам пути назад! Мы это выбрали сами:
на чаше весов лежала всей тяжестью наша совесть,
и только она предредила веское наше решение.
Мы собственным светом торили эту дорогу.
А ныне люди идут по мосту, наведенному нами,
и в этой нехитрой гордости — вся наша жизнь,
торжество продуманного рассвета.

Конец карнавала... Время воды и дождя.
Бурлят подземные реки Чили,
буравят днища вулканов,
вгрызаются в кварц и золото, размывают пласты
тишины...

Подземное море покуда не ведаёт о человеке.
Мы говорим «мыс Горн», мы говорим «океан»,
но эта священная влага покуда не осквернена:
мы не сумели и там водрузить свои магазины,
машины, и шахты, и национальные флаги.
Бушуют вольные воды,
бурлят, и буравят, и моют,
и отмывают от наших следов
камни, песок, останки, ржавую утварь.
Не истощается это кровавое пламя,
не превращается в прах и золу.

Полночь похожа на воду: она умывает небо,
острой струей падает в омуты снов.
Полноводная полночь,
упругая звездная влага,
она
уносит останки скончавшихся дней.
В небе звездной метелью

мечутся корни ночи,
а здесь, на дне, среди нас
колышется частая сеть —
ее сновиденья и тени.
Водой, сном, голой правдой,
камнем и мглой
мы стали уже или станем.
Ночные тени, мы в темноте
пьем неразбавленную ночь.
При разделе земли нам достался камень
нашего очага, и, когда мы решили,
что пора вынимать хлеб из печи,
в печи оказалась мгла.
Мы
поделены
жизнью,
нас расчленила ночь,
рассекла пополам, пополам вразумила,
вот мы и бродим
в потемках по свету,
навылет пронзенные звездами.

10

Унесенные ветром любимые лица,
родные, развеянные по лазури,
по тверди, выстеленной тишиной.
С вашим последним вздохом осыпался колос,
и нам показалось, что мы умираем с вами.
Теперь мы живем рядом со смертью
и слушаем, как осыпается колос,
как падают зерна:
продолжается цикл бытия.

И вдруг за столом недочтешься
самых любимых: и ждешь их,
и больше не ждешь, потому что
такова смерть:
она подступает к каждому стулу, и вот
он опустел, и умер бедный Альберто,
и к деду ушел, не прощаясь, отец.

11

Давайте вернем потерянный день!
Не надо опять заводить пружину каждого часа:
просто вспомним солнечный луч и лазурь

да еще апельсины.

В конечном счете от полной охапки подробностей
все равно остается только
скомканный лист бумаги,
который покатится вдоль по песчаному пляжу
прямо в зубы холодной зиме.

В конце концов забываются листья,
но держится в памяти
зеленый запах леса и влажная дрожь ветвей.
Во мне и сейчас еще бродит давний настой рощи,
и гудит в излучинах вен голубая листва.
Но разве припомнишь день или час? Куда там!
Подводят числа и годы, а месяцы
смыкаются сзади таким лабиринтом,
что Апрель и Октябрь начинают звучать, как удары
камня о камень.

В одну корзину можно сложить все яблоки жизни,
в один-единственный невод — все серебро рыбы,
покуда холодное лезвие ночи взрезает закат
уходящего дня, который, что б ни случилось,
проснется наутро — если мы сами проснемся.

12

Белая пена. Осень на Исла Негра. Вижу,
как трудятся волны, как рушатся белые гребни,
расплескивая расходившийся океан.
Сонное небо прорезано плавным пареньем
жреческих птиц.
А мир полонит желтизна.
Линяет месяц, густеет рыжая грива
чилийской океанической осени.
Меня зовут Пабло,
и я все такой же.
Есть у меня и любовь, и долги,
и долгая смута сомнений,
есть у меня безбрежное море со множеством слуг,
которые движут упорно волну за волной.

Я различаю во мгле урагана
странные страны.
Из моря я вышел и в море вернусь,
мне известны
паречия рыбных костей
и акульего зуба,

озноб океанских широт,
и алая кровь коралловых рифов, и тихий
сон голубого кита...

Потому что

я много бродил по земле, по равнинам и поймам,
но всегда возвращался назад...

А иначе —

что бы я смог рассказать без этих корней?

13

Что бы я смог рассказать, не ступая по глине?

С кем бы я разговаривал, не понимая дождя?

Поэтому там, где я был, меня никогда не бывало,

и, куда б я ни плыл, я плыл по дороге домой.

Я не просил у заморских диковин портретов на память.

Я всюду пытался упрочить первооснову

камня отчизны —

по праву, без права, быть может, бредово,

со злостью, с расчетом, — всегда и везде

вникал в тигровые заросли

и в переполох муравейника... Вот почему,

когда увидел я все, что увидел,

когда перетрогал я землю и грязь, камни и пену,

а также зверей, узнававших меня по шагам и по слову,

и листья лиан, целовавших мне губы, —

я тихо разделся при свете и молвил: я здесь,

и руки свои тяжело опустил в океан.

И когда все вокруг на земле оказалось прозрачно,

в ней, в земле, успокоился я со спокойной душой.

**ИЗ КНИГИ
«МЕМОРИАЛ ИСЛА НЕГРА»
(1964)**

РОБОСТЬ

Едва я понял, что существую,
что могу и дальше быть на земле,
как стал бояться всего, всей жизни, —
мне хотелось стать невидимкой,
чтобы никто обо мне не знал.
Бледный и худущий тихоня,
я молчал, чтобы никто не услышал,
какой у меня голос; жмурился,
считая, что и меня не видят;
я ходил, прижимаясь к стенам,
словно бы тень самого себя.

Если б я мог, я одевался бы
в разбитую черепицу и в дым,
чтобы жить, но быть незаметным, —
быть во всем, но как бы на миг,
сохранять свой таинственный облик,
растворяясь в обличьях весны...

Вдруг — лицо девушки, чистая молния
ее улыбки, которая надвое,
как яблоко, разрезала мой день, —
и я уже хожу другой улицей,
жаждая жизни и обмирая,
рядом с водой — не изведав свежести,
рядом с костром — не пригубив огня.

Я спрятался за маской гордыни,
стал тонким, колючим, точно копье,
стараясь, чтобы никто не услышал
(вот еще!),

как я тихо скулю,
словно щенок с перебитыми лапами,
тоскующий на колодезном дне.

БЕССОННИЦА

Я думаю в ночи, что будет с Чили?
С моей несчастной,
с моею темной, бедною страной?

Я так люблю кораблик этот тонкий,
все камни, комья,
негаснущую розу побережья,
живущую бок о бок с пеной,
что стал единым целым с этой далью,
сошелся с каждым из ее детей,
с ее сквозными временами года, —
я с ними плакал, с ними расцветал.

Я ощущаю, как сейчас, едва лишь
пошел на убыль мертвый год сомнений,
и обескровившая нас ошибка
ушла, и снова начали мы счет
добру и справедливости, — как снова
повеяло угрозой
и злоба щерит пасть из-за угла.

РЫБАК

Нагой рыбак нацелил свой гарпун
на рыбу, прилепившуюся к рифу.
Застыли море, воздух, человек,
а над водой, как роза милосердья,
неспешно распускается в тиши
взмывающая медленно скала.
Все замерло. Похоже, что минуты
сложились словно веер и пропали.
И сердце обнаженного ловца
в воде свое биенье погасило.
Но стоило скале закрыть глаза,
а волнам позабыть свое главенство, —
как самый центр безжизненной планеты —
жизнь неживого камня — поразил
молниеносный натиск человека:
гарпун вонзился в тело Чистоты,
и раненая рыба трепыхнулась,
как флаг печальный над бездушным морем, —
как бабочка соленая в крови.

МАГНЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Чем больше поцелуев и блужданий,
тем больше книг. И если в книге нет
любви, пространств, всей цельности мужчин
и женщин, в каждой из бумажных клеток,
желанья, злости, голода, — она
ни колоколом, ни щитом не станет —
ей не расклеить сомкнутых ресниц,
рта, посиневшего от назиданий.

Я полюбил молчанье брачных рощ,
искал стихи в полях любви и крови,
на голом камне выпестовал розу,
за чью любовь роса дралась с пожаром.

Поэтому я смог в скитаньях петь.

ОДИНОЧЕСТВО

То, что со мной не случилось,
было настолько внезапным,
что я там так и остался,
певедомый никому
и ни о чем не ведая,
как будто упал за комод,
как будто в ночи затерялся:
таким было то, чего не было,
и я таким и остался.

Потом я спросил у других,
у прочих мужчин и женщин —
как это им удалось —
выучить жизнь назубок?
Они мне ответа не дали,
танцуя и просто живя.

Вот все, что со мной не случилось,
что сделалось тишиной,
в которой я стал молчуном,
весь — ожиданье и слух.

ВОЗМОЖНО, ЕСТЬ ЕЩЕ ВРЕМЯ

Возможно, есть еще у нас время
не только быть, но быть справедливыми.
Неясно каким мимолетным образом
вчера внезапно скончалась правда,
и хотя об этом наслышан весь мир,
весь мир закрывает на это глаза, —
никто не прислал венков и цветов.
Она умерла, но никто не плачет.

Между забывчивостью и спешкой,
возможно, мы еще выкроим время
из нашей жизни и нашей смерти,
чтобы, шагая от дома к дому,
от моря к морю, от порта к порту,
от плоскогорья к плоскогорью,
а главное — от людей к людям,
выяснить, мы убили ее
или ее убили другие,
совершили злодеянье враги
или наша любовь ее доконала,
потому что правда вправду скончалась,
и самое время узнать всю правду.
До этого мы должны были драться
на пистолетах ночного калибра,
и, рая друг друга, вовсе забыли —
для чего, с какой целью деремся?
Так и не выяснилось, чьей была
кровь, которая нас залила,
без передышки мы обвиняли,
и нас обвиняли без передышки,
они страдали, и мы страдали,
и пока они побеждали
в то время, как побеждали мы, —
правда потихоньку скончалась
от дряхлости или злости на нас,
и сейчас уже ничего не поделать:
все мы проиграли сражение.

Вот я и думаю, что, возможно,
мы еще можем быть справедливыми
или попросту можем быть:
все-таки у нас еще есть минута,
а за нею — целая вечность,
чтобы не быть и про все забыть.

**ИЗ КНИГИ
«ПТИЦЫ ЧИЛИ»
(1966)**

АЛЬБАТРОС

Плывет в открытом море ветер,
им управляет альбатрос,
и это судно альбатроса;
танцует, мчится вверх и вниз,
а то повиснет в темном свете
коснется башен волновых,
садится вдруг в раствор кипящий
разбушевавшейся стихии,
и орден соль ему дает;
свистит неистовая пена,
скользит в полете альбатрос,
большие крылья рождены
большою музыкою мира;
и оставляет он над бурей
летающую все дальше книгу,
и это свод законов ветра.

КОРМОРАН

Он словно на скале распят:
недвижный крест из черных перьев
повис, упрямый и кривой;
и, словно лошадь, солнце пало
на камни скал береговых,
и высекли подковы солнца
милльон безумных гневных искр,
милльон взлетевших капель моря;
а он, летучий и распятый,
он на кресте и не моргнет;
волна вздувалась и рожала,
дрожал в тяжелых родах камень,
и шелестела нежно пена,

а там, как негр повешенный,
был мертв, как прежде, корморан,
был жив, как прежде, корморан,
был жив и мертв, и был он крест;
застыли черные крыла,
распластанные над водою;
он был все тот же гневный крюк,
что вбит в просоленные скалы;
казался он угрозою
ударов ярости слепой,
огня, и зелени, и гнева,
стихий объединенной мощи
на том кипящем берегу;
он был и крест, и виселица,
и ночь, прибитая к кресту,
агония кишащей тьмы;
и вдруг унесся в небо он,
летя, как черная стрела,
и взмыл он по спирали вверх
в одежде снега черного
с медлительностью звезд и лодок.
И над смятением морским,
изранен холодом и морем,
летел, летел, летел, летел,
как уравнение в пространстве.

ИЗ КНИГИ
«БАРКАРОЛА»
(1967)

КОЛОКОЛА РОССИИ

Однажды я брел по безмолвной васнеженной шири,
и вот что случилось — послушай, родная, про случай
мороз над пустынною степью развесил сосульки своих
ожерелий,
и шкура планеты блестела, покрыв обнаженное тело
России,
а я, раздвигая скелеты берез, в предвечерье огромном
шагаю, вдыхаю пространство и слушаю пульс одинокого
мира.

Тогда-то взмыл из безмолвия голос земли полуночной,
за голосом голос, вернее, всемирное многоголосье:
глубокий басовый удар, неумолчный металл непроглядного
мрака,
поток этот медленный — голос таинственный неба.
В округлые выси летел этот вызов небесного камня
и падал во мглу водопадом серебряной скорби, —
вот так я в дороге и встретился с колоколами России,
с глубинным ознобом их звона во тьме поднебесной.

Набаты, набаты огромной вселенной, далекие гулы
в глухом безмятежье зимы, что трепещет, как знамя,
как белое рваное знамя, вонзенное в полюс.

Набаты сражений, поющие хрипло о битвах,
о крови, сожженных домах, поражениях горьких,
а позже — о стягах победных, увенчанных светом.

И вот я сказал, обращаясь к метели, к зарницам,
к себе самому, к переулку, где слякоть припудрена
снегом:
война отступила, похитила нашу любовь, — обгоревшие
кости

устлали поля на исходе безжалостной жатвы...

Ответом мне древние были набаты, гудевшие в сумрачном
свете,
как в зеркале мутном, как в городе, канувшем в озеро, —
так колокол яростный в грозных своих перегибах
вызыванивал если не мечь, то печаль обо всех
бездыханных героях.

Был колокол каждый как ветка, ронявшая гром и напевы,
певучие всплески железа летели к сиянью луны
белоснежной,
мели омертвелую чашу, где спящие сном беспробудным
деревья
вздymали вселявшие страх неподвижные конья.
Над полночью колокол тек, как река, уносившая корни,
молитвы,
невест и могилы, солдат и святых, урожая,
пожары, и улы, и крики младенцев.

А с царской главы, с одинокой короны, отлитой в тумане
в кровавых и огненных кузницах средневековыми
мастеровыми,
слетела пыльца изумрудно-кровавого звона;
и как испаренье над стадом промокшим,
дыханье и запах молящихся в церкви холопов
окутали золотую корону под звон погребальный.

Но в даях за сиплыми колоколами уже громыхают
раскаты:
пожар революции ало окрасил березовый саван,
посеребренный росой,
взрывается мак, лепестками багряными землю усылав,
и армия молний вторгается в спящие степи.
Внемлите заре, распутившейся в небе, как роза,
и общему гимну очнувшихся колоколов, возвестивших
ноябрьское солнце.

Подруга моя, я бродячий поэт, воспевающий радость
земную,
науку цветенья и хлеб на столе, необъезженный ветер
и мед добросердый,
в напеве своем я приветствую дом человека, жену
человека, мечтаю
о том, чтобы терпкая радость проникла в сердца всех
живущих.

Я все, что творится, вбираю, как колокол полный,
и возвращаю планете
горластыми благовестами колоколен весенних.

Прости меня, если порою набат невеселый, который
сорвался с души моей мрачной,
колотит руками полночными в двери пшеничного
полдня, — не бойся:
есть время у колокола, есть веселый напев, ожидающий
часа,
когда голубей своих выпустит в небо, и радость, как веер,
раскроет над миром — всемирную громкую радость.
Набаты былого, грядущего, гулы басовые в глуби людских
сновидений,
набаты пожара и бури, набаты баталий и злобы,
набаты пшеницы и сельских собраний,
набаты всех свадеб на свете и мира на свете,
заплачем, набаты, запляшем, набаты, споемте, набаты, —
восславим бессмертье любви, это солнце, луну, океаны
и землю, —
осанну споем человеку!

КОСМОНАВТ

1

Собственно, я оказался на этой унылой планете
из-за изъянов в моем воспитании: с детства
мне набили оскомину непримиримо стальные герои,
вот и послал я их к черту, и вырос немножечко чокнутым,
продолжая делать приятное личным моим неприятелям.

2

Однажды я получил приглашение на свежееоткрытый
болид *.

Да и Леонов меня соблазнял космическим колером:
мол, бирюзовое пламя эфира и плюс
океан серебра, бурлящий зеркальным расплавом.
Когда ж я остался один на этой гранитной проплешине,
похожей одновременно на пустошь и каменоломню,
я тотчас разделся и зажил вот так — нагишом —
в первобытном тепле первобытного этого мира,
который, возможно, уже угасал, а быть может,
едва нарождался.

3

Вскоре я заскучал — не по брюкам,
а по человеческой речи...

На этой планете повсюду росли железные розы.
Когда же одну я сорвал, то с нее соскользнула росинка
и прободала каленым металлом гранитную твердь.
Сквозь эту незримую скважину было мне слышно,
как в каменном русле катится капля, буравя
каскады кристаллов — усталых, источенных... Кем?
Зверьем ли? Людьями? Дикарями ли, дикобразами?
И я удивился себе: выходит, я снова
ищу безуспешно истоки, историю, тождества,
которые думал оставить на старой земле.

4

Быть может, вот в этих морщинах расщелин,
под струпьями лавы,
под вулканической ветошью инопланетного пепла
таилась, таится та самая подлость, которая рьяно
терзала меня на земле? Кто знает, быть может,
и здесь благоденствует неископаемое людоедство
под холопской эгидой газетчика де Пустобрюхи
и так же продажную шкуру меняет сеньор Веролома,
а в клубе «Холуйо» беседуют о «своевременном»
перевороте?

5

Однако хотя и прилежно врубался я в твердь астрологии,
но отыскал только череп и кости безмолвья,
да еще останки рептилий — остатки брэнного праха...
Все же прочее в пыль было смолото и почему-то
светилось.
Вообще вся планета моя походила на древнюю бабочку:
тронешь крыло — и оно рассыпается, и остается
только стальное зияние, холод пещеры.

6

Я заплутал в лабиринтах этого солнца, сбитого мощной
ракетой,
в недрах этой луны, у которой вырвали сердце;
и так же, как в миг безопасности там, на опасной земле,
ноги сами шагали, слушаясь голоса страха.

И все же я не воспел певучий плеск алебастра,
расплавленного в вагранках обугленных площадей,
и я не нашелся, кому рассказать о черном потоке
пепла, бегущего вдоль изувеченных улиц.

7

Мало-помалу я превратился в пугливого Робинзона.
Теперь мне не нужно было не только одежды, но даже
еды и питья,
ибо свечение камней насыщало меня и поило.
Потом постепенно я стал забывать свой язык,
и так, безъязыкий, блуждал я в пустыне безмолвья.

О безмолвие космоса! Мало-помалу
онемело и сердце мое. И тогда, пораженный,
я услышал безмолвье под спудом другого безмолвья
и понял, что таю и сам превращаюсь в безмолвье
здесь, в закоулке пространства, где я погребен под волной
безголосой реки изумрудов — камней, не умеющих петь.

БАРКАРОЛА КОНЧАЕТСЯ

СОЛО СОЛИ

(Внезапно день захлебнулся вечерней печалью,
и вот баркарола, которая крепла звучаньем,
вдруг умолкает, и голос ее неподвижен.)

Итак, надо мною сомкнулись безлунные джунгли,
и скорчились тени, жгутами вползая в автобус,
и ожили жуткие звуки, свиваясь в спирали,
и стало мне страшно: черная Азия, черная полночь
и чаща.

Зачем же юность моя, трепеща, как пчелиные крылья,
металась в смятенье по мареву мрака и смуты?

И вдруг — остановка, и вышли мои незнакомцы,
а я, сын запада, остался один в этих дебрях,
один, безъязыкий, в кабине, затопленной ночью,
и к смерти уже приготовился — двадцатилетний.
Потом я услышал топот и бой барабана:
это плясали убийцы мои. Танцевали,

пели под гнетом угрюмого леса,
чтобы развлечь заблудившегося чужеземца.
Выходит, что страхи мои оказались напрасны:
это плясали девичьи косы, мелькали лодыжки и пятки,
а барабаны смеялись и пели — и все это ради меня.
Эту историю я рассказал, дорогая,
чтобы ты знала: прозрение приходит порой необычной
дорогой.
Именно там я усвоил первый урок человеческого света;
там я впервые задумался над человеческой дружбой.

Это случилось в двадцать восьмом, во Вьетнаме.
Сорокалетие спустя на песню моих побратимов
коршуном кинулось хищное пламя, сжигая
музыку, девичьи косы, безмолвие джунглей,
испепеляя любовь и калеча невинное детство.

Проклятие захватчикам! — ныне кричат барабаны
и призывают упорно к отпору и мести.

Любовь моя, я воспевал мгновения моря и света,
и луна моей баркаролы сонно качалась на волнах,
ибо созвучны покою гармония счастья
и влажные губы весны, сквозящей над морем.
Я сказал: пронесу сквозь скитанья твои глаза, дорогая!
Розу, в сердце моем учредившую родину благоуханья!
И еще я добавил: мы встретим героев и трусов,
и гроза мировая мои опалит поцелуи.
Я сказал — и отчалила барка моей баркаролы.

Но подлое время, но кровь человечья, пролитая
за горизонтом,
примешаны к пене и брызжут в лицо, затмевая нашу
луну, потому что
эта далекая боль — это кровное наше несчастье,
и рвут мое сердце мука и мужество павших.
Наверное, эта война окончится, как и другие:
мы будем убиты, и будут убиты убийцы,
но грязное время проводит по лбу обожженной ладонью,
и кто же отмое невинную кровь с нашей эпохи?
Любовь моя, видишь: безбрежная даль побережья
прядет, лепесток к лепестку, медвяные ветры,
и вот уже белые стяги весны возглашают
наше бессмертье — недолгую нашу причастность.

И если к нам прикасалась косая волна океана,
если моя баркарола сумела пройти через бури,
если в ладони мои пролилось твое звонкое тело,
встретим с тобою судьбу на этой черте, не колеблясь,
твердо глянем в лицо бешеному огню.

И знает ли кто-нибудь тайную суть продолженья,
соединенья времен, начиненных солнцем и плачем?
Молча земля выбирает наследные зерна и ветви,
и падает в желтую высь новый пришелец.

Человек оседлал моторы, и сделалось страшным
искусство:
свинцовые акварели и тряпичные монументы,
книги, в которых усердно фальсифицируют молнию;
великие сделки века часто подписывались кровью;
словно древняя мумия, высохла наша надежда...
А век обещал расплатиться за все издержки на небе.
Но когда взлетали ракеты, у нас выпадали волосы
и мы постоянно гадали, несчастные дети потемок:
то ли ученые вывели новую породу смерти,
то ли просто на этот раз открыли звезду.
И мы со всеми, родная, делили надежду и стужу,
нас били наотмашь не только смертельные наши враги,
но даже смертные братья (а это куда больнее) —
и все же не стали слаще книги мои и хлеб.
Мы жили, помножив жизни на знаменатель боли,
любили любовь и ветер, и презирали подлых,
и уважали подлинных всею своей прямою.

Любовь моя, всадник ночи плещет плащом над морем.

Любовь моя, гаснет море, и парус вянет на мачте.

Любовь моя, ночь над мачтой зажигает звездный пожар.

В затоне мужчины плавно женщина проплывала,
по руслу реки горячей снесло их в соленый сон,
где мутно слоились тени и в трюмах туман томился,
и оба они уснули каменным изваяньем.

Пробил час, дорогая: влажная роза вянет.
Надо расстаться с ночью, пепел предать земле
и с мятежом рассвета вернуться к тем, кто проснулся,
или же, не просыпаясь, к дальнему плыть побережью,
хотя у этого моря нет никаких берегов.

**ИЗ КНИГИ
«РУКИ ДНЯ»
(1968)**

ЧЕГО ПРОЩЕ

Сила не хвастает (сказало мне дерево),
и глубина (сказали мне корни),
и белизна (сказала мука).
Не скажет дерево:
«Я выше других».
Не скажет корень:
«Я из центра земли».
И хлеб ни за какие коврижки
не скажет: «Хлеб превыше всего».

ГЛАГОЛ

Я скомкаю это слово,
помню,
уж слишком оно
гладкое,
как если бы
большая собака или большая река
долгие годы его вылизывали
языком или водой.

Хочу, чтобы в слове была
пероховатость,
короста соли,
беззубая щербатость
земли,
кровь говорящих
или молчащих.

Хочу почувствовать жажду
слова —
ожечься пламенем

звука,
услышать мглу
крика. Люблю
шершавые
девственно-каменные
слова,

**ИЗ КНИГИ
«СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ»
(1969)**

ПОРОГ

Какой нескончаемый век!
Мы спрашиваем:
когда он падет? Ничком упадет
в тесноту, в пустоту?
Придет к божественной революции?
Или конечной
первобытной лжи?
Но признаемся —
мы прожили этот век
не так, как хотели.

Вечно он был агонией,
вечно на последнем дыхании,
на рассвете был светом, вечером — кровью,
с утра — дождем, к ночи — слезами.

Новобрачные убеждались,
что свадебный торт был весь в шрамах,
словно после операции аппендицита.

Космические люди
взлетали по огненной трассе,
и когда мы уже касались
ног истины — оказывалось,
что истина отбыла на другую планету.

Со злобой косились мы друг на друга.
Самые строгие капиталисты
не знали, что делать:
они изрядно устали от денег,
потому что сами деньги устали.
Самолеты отлетали пустые.
А новых пассажиров до сих пор не видно.

А мы все ждали,
как ждут на перроне в зимнюю ночь,
ждали мира.
Но прибывала война.

Никто не хотел обронить и словечка,
чтобы не дай бог не связать себя словом:
пространство между людьми стало бездной,
а языки настолько разными,
что умерли, то ли от всеобщего молчания,
то ли оттого, что все затараторили разом.

Лишь собаки продолжали лаять
в дикой ночи нищих народов.
И половина века была безмолвием,
а другая — собачьим лаем
в дикой ночи.

Но век, этот ноющий зуб, не выпал.
Век продолжал всех нас распинать.
Он открывал перед нами дверь,
озаряя нас, как золотая комета,
и захлопывал дверь, и бил нас
прикладом в живот.
Он освобождал узника, но едва
мы поднимали его на плечи,
как тюрьма проглатывала миллион людей,
другой миллион уходил в изгнание,
а там еще один миллион
отправлялся в печь, превращался в пепел.

Я стою у порога, готовый к отбытию,
и встречаю каждого, кто прибывает.

Когда упала бомба
(вспыхнули люди, насекомые, рыбы),
нам захотелось исчезнуть,
переменить планету, породу.
Захотелось стать лошадьми,
невинными лошадьми,
ускакать отсюда как можно дальше.

Не из боязни уничтоженья —
речь шла не только о страхе смерти
(страх и без того

был нашим хлебом насущным), —
а потому, что уже не могли ходить
на двух ногах:
бездонным был этот стыд — быть людьми.
Таковыми же точь-в-точь,
как расщепляющий и расщепленный...

И снова. И еще раз.
До каких же пор — снова?

Казалось, уже отмыли зарю:
отмыли временем и забвеньем,
благоразумные страны,
убивая теперь в меньших масштабах,
производя смерть, копили ее
на складах убийства.

Вроде бы все решилось, спасибо:
по крайней мере, появилась надежда.

Поэтому в дверях я жду
прибывающих к концу этого представления,
к этому преставлению света.

Я с ними вхожу, будь что будет.

Уезжаю с ними
и возвращаюсь.

Мой долг — жить, умирать и жить.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ

Мне мало воспоминаний,
вот почему я выпрыгиваю
в очевидную жизнь, ворошу
штукатурку этого века,
ношу каждодневный башмак,
и хотя я не на кресте,
я самый распятый в мире,
я весь перемолот колесами
фальшиво-победного века.
Зачем было петь, когда
в Испании под ножами

погиб миллион людей?
Когда там убили правду?
Ее свалили в могилу
и сели в могильном безмолвии
за вышиванье знамен.

Я к этой крови вернулся —
так забывчивый генерал
вспоминает о пораженье:
не только убитые умерли
на руках у кровавой битвы,
в застенках, на месте казни
и на равнинах изгнания, —
вместе с ними и мы,
мы — до сих пор живые:
все знают, что мы убиты.

МИР ПЕРЕПОЛНИЛСЯ

Красивыми были предметы
позднего человека,
жадного мастерового.
Я планету застал еще голой,
а ее постепенно набили
нашинкованными болванками,
алюминиевыми лимонами,
электрическими потрохами,
повсюду тряслись машины
и низвергались на кухни
синтетические Ниагары.

В 1970-м
на улицах и в полях
невозможно было пробиться:
наглые локомотивы,
застенчивые мотоциклы,
непутевые автомобили,
брюхатые самолеты
(сущий конец мира!)
не давали нам путешествовать,
не давали произрастать,
забивали долины и пляжи,
затыкали рты колокольням.

Не стало видно луны.
За выхлопными газами
скрылась из виду Венеция,
Москва разрослась настолько,
что березы исчезли
от Кремля до Урала,
а Чикаго так вырос ввысь,
что однажды рассыпался,
как горсть игральных костей.

Я видел последнюю птицу,
в Андах, возле Мендосы *:
вспоминая об этом,
я плачу пенициллином.

ПЕЧАТЬ

Сколько веков бумаге,
чьи желтеющие одеянья
мало-помалу застлали
всю поверхность земли?
Чащобная журналистика
запалила костер склоки,
подстрелила невинного ложью,
всучила средство от пота,
подсластила режим тирана,
распространила тьму.

Каждый журнал утвердил
закон своего владельца,
и в продажу пошли известия,
окропленные кровью и ядом.

Война ожидала, почитывая
газеты всего света
глазами пустых орбит.
Я слышал, как она ржала,
стучала черными челюстями,
читая передовицы,
где о ней говорили с нежностью.

Каменный человек,
став человеком бумажным,
занавесился сзади и спереди,

**как набедренною повязкой,
сфабрикованными страстями.**

**Секс и кровь затопили
все страницы земли,
и было трудно найти
обнаженную девушку,
грызущую сочное яблоко
над голубой рекой,
потому что реки наполнились
типографской унылой краской,
а ветер замел газетами
города и вулканы.**

ОПАСНОСТЬ

**Предупредили: осторожней,
не поскользнитесь на паркете,
на мокрой глине, на снегу.
Ну что ж, сказали мы, на льду
мы постараемся не падать.
Но вышло так, что под ногами
все начало внезапно плыть,
и все мы стали кувыркаться.**

А это кровь была.

Она
текла из секретариатов,
с постов, захваченных разбоем,
текла по мраморным ступеням
и затопила поле, город,
редакции газет, театры,
хранилища людского непла,
полковничьи застенки...

Кровь
окопы с верхом залила,
струилась из войны в войну,
по миллионам мертвых глаз,
которые лишь кровь видали.

**Так было — я могу поклясться.
Возможно, в жизни вы скользили
лишь на снегу или на льду.
Мне выпала другая доля —
оскальзываться на крови.**

**ИЗ КНИГИ
«БЕСПЛОДНАЯ ГЕОГРАФИЯ»
(1972)**

**ГРУЗОВИК СО СРУБЛЕННЫМИ
ДЕРЕВЬЯМИ НА ОДНОЙ ИЗ ДОРОГ ЧИЛИ**

Восемь мертвых стволов
трясутся на грузовике, покидая
горные кряжи,
зеленую неуступчивость
Лонкимая, территорию неба и снега,
обитель моего света, моих одиночеств.

О угасающие леса,
студеная листва, предпоследние позвонки
былой ярости — битвы
испанца и араукана,
мечей и коней
под глухими проклятьями ливня!

Восемь стволов простерты
на закорках у грузовика — текут
от Сантьяго по пути к полюсу,
к Южному полюсу, к белой бездне.
Восемь моих товарищей
с корнями, подрубленными во мне самом.

Солнце, праздник
цветения, солнце, растительность
буйного лета, —
фиолетова и желта дорога,
тут — синие обелиски
наперстянки,
там — пальба маков,
повсюду
цепкий бег ежевики.

Над Кордильерами лето.

А полдень — как голубой циферблат,
застывший, круглый, перерезанный
медленным скольжением
черной птицы, провожающей эти стволы,
эти разрушенные деревья.

ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Двадцатать седьмое, одно из двадцать седьмых.

Кто нумерует дни?

С какой целью?

Я спрашиваю,
в этом мире, на этой земле, в этом
столетии, в эту пору,
в этой цифровой жизни — зачем,
для чего нас упорядочили, заточислили,
засунули в суммы, разделили
каждодневный свет,
зимний ливень,
насущенное солнце каждого лета,
семена, поезда,
тишину,
даже смерть затиснули в нумерованные лежбища
на бескрайних белых кладбищах
с вереницами улиц.
По порядку номеров! — орут
не только исчадия ада
в казармах и у печей,
но даже нежные
неотложные смуглянки
и засахаренные блондинки, —
упаковывают нас в номера, которые тут же
из списков летят в забытие.
Меня зовут Двести,
Сорок Шесть или Семь,
скромненько подведу итоги, а там —
прыг в ноль — и прощайте.

И ВСЕ ЖЕ

Да, ничто не меняется, и все же меняется —
нечто, крупинка, воздух, жизнь, а там и все остальное,
и когда все стало меняться, все изменилось,
и человек уходит, его имя и кости.

Ладно, еще один день, — как огромно все это:
словно ты прыгаешь в новую бездну
или в другие новые бездны, в другое
царство транзита — у этой истории
нет конца, даже когда приходит конец,
а когда все опять начинается, тебя уже нет.

Почему же столько цветов и такое буйство
растительности, все эти пестики,
пыльца, насекомые, свет и луна,
наши ноги и наши рты, обметанные
словами и преходящим
прахом,
и все это здесь, в своем развитии,
под всеобъемлющим нежным сиянием неба?

Ну почему? Ну зачем? Для чего?

**ИЗ КНИГИ
«ПРИЗЫВ К РАСПРАВЕ С НИКСОНОМ
И ХВАЛА ЧИЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
(1973)**

НАСЛЕДИЕ

Напалмом Никсон угрожает всем,
спасенья нет ни городам, ни странам, —
так действует унылый дядя Сэм,

убийцам-летчикам, политиканам
и ворам деньги из тугой мошны
рассовывая щедро по карманам...

Моей стране природою даны
вершины и высокий дух свободы,
просторы океана и весны,

но сколько крови пролилось на всходы!
И радость, когда радовались мы,
уликою была в иные годы.

Кровавая река течет из тьмы.
Израненную, со следами пыток,
мы вынесли отчизну из тюрьмы.

ПРОТИВ СМЕРТИ

В ночи преступник сумрачный хлопочет,
к войне гражданской поднося запал.
Набитый рот, сойдя со сцены, хочет

отнять еду у тех, кто голодал.
Старательно на раны сыплет порох
тот, кто со злости скорпионом стал.

Хотят в братоубийственных раздорах
нас удушить, на помощь кличут шквал.
Не зная, что народ чилийский в спорах

всегда законы жизни уважал.
Ни честь не выиграет, ни насилие,
когда обрушится кровавый вал.

Жив смертью на земле один шакал.

Земля, где мы страдали и любили,
однажды расцветет, как добрый сад,
для всех она готовит изобилье.

Пусть кто-то недоволен, кто-то рад,
но каждый пусть отдаст родному Чили
свой ум, свой час — все, чем сейчас богат!

Я ОСТАЮСЬ ЗДЕСЬ

Пусть неделимым будет отчий край

пусть выстоит перед семью ножами.
Чилийский свет, прошу тебя, играй
над нашим новосельем и над нами.

Все могут в этом доме поместиться.

А тот, кто говорит, что здесь темница,
пусть уезжает с песнею своей.

Всегда был чужеземцем богатей.
Пусть, теток прихватив, в Майами мчится!

Я здесь, чтобы с рабочими делиться
напевом среди утренних полей.

ИДИ СО МНОЙ

Отныне здесь я остаюсь с тобой
во имя Чили — воли голубой,

и моря, рыбой полнящего сети,
и хлеба, что клюют щеглята-дети,

во имя меди, и борьбы в конторах,
и нив, где поутру пшеничный шорох,

друзей, которые всегда с тобою,
колосьев, роз и мерного прибоя,

во имя всех забытых земляков,
студентов, и солдат, и моряков,

во имя всех народов и племен,
колоколов, корней и шумных крон,

во имя всех дорог и узких троп,
мир выводящих к свету из чащоб,

во имя красных флагов на восходе,
их страсти, их движения к свободе,

во имя счастья понимать, что ты —
частица этой общей полноты.

Иди со мной, борись. Отныне твой —
мой стихотворный склад пороховой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я снова здесь, под милым небосклоном.

Я возвратился юношей влюбленным, —
ласкаю ветер, солнце, семена
и волны жадным взглядом восхищенным.

Вот так всегда душа была полна
мерцаньем Чили, золотистым звоном,
напевом чистым этого вина.

Мой нежный — снежный — край, твоих забот
я никогда не отвергал — со мною
все дни твои: одни — как нож в живот,

другие — как поляна под луною.
Пустил я корни среди этих вод,
цветком расцвел над горной крутизною.

Я на чужбине был с тобой всегда,
живут в моих стихах твои три цвета, —
твой флаг запеленал мои года.

Кровь, белизна, голубизна, звезда,
отчизна, первозданная планета,
родная нежность, родина! Сюда

твой барабан с другого края света
меня зовет, — твоя страда, беда.

«ОДИНОКАЯ РОЗА» (1974)

ВСТУПЛЕНИЕ К МОЕЙ ТЕМЕ

Плыву на остров Пасхи, на мираж,
пресытившись дверями и дворами,
разыскивая то, что не терял
на этом острове. Похож на колос
сухой январь, чей желтоватый свет
колышется над побережьем Чили,
покамест море не сотрет его,
а я опять отплыл, чтобы приплыть.

Там ночь воздвигла статуи свои *
и раскрошила их в своем затворе,
чтоб их могло лишь море созерцать.

(А я плыву их возместить, воздвигнуть
в моем давно потерянном жилище.)

Здесь, среди серых наваждений, камня,
просторной белизны и голубого
движения, морской воды и туч,
я вновь творю все жизни моей жизни.

I

ЛЮДИ

Я, пилигрим
острова Пасхи, чудака кабальеро,
прибыл сюда, молочу в ворота безмолвья,
еще один из принесенных ветром,
из тех, кто одним махом перепрыгивает через море.

И вот я здесь, как другие напыщенные пилигримы,
которые на английском подкармливают руины,

выдающиеся сотрапезники туризма (вроде Синдбада и Христофора), чьи открытия равны счетам в туристском баре.

Разумеется, давно покончено
с пятимачтовыми парусниками и червивою солониной,
с выпцветшими романами о затмении мореходов,
отныне мы перемещаемся в огромных алюминиевых
гусынях,
сидим рядком, потягиваем разную горечь,
вереницей — брюшко за брюшком — идем на посадку.

II

ЛЮДИ

Это правда вступления. К черту романтику
и все тонкости отчуждения — ничем
я не отличаюсь от учительницы из Колумбии,
от члена клуба «Ротари» из Филадельфии,
от коммерсанта из Пайсанду *, который
прикошил денжат, чтобы приехать сюда.
Из разных кварталов, из непохожих наречий
мы причаливаем к Тишине.

III

ОСТРОВ

Древний Рапануи, безголосая родина,
прости болтунов земли,
мы съехались отовсюду, чтобы плевать в твою лаву,
прибыли, начиненные разногласиями, кровью,
слезами, пищеварением, персиками и войнами,
маленькие хороводы недругов, с улыбками
ханжей, соединенные пасьянсом неба
на столе твоей тишины.

Снова мы прибыли, чтобы тебя марать.

Сперва я приветствую кратер, Рано-Рараку,
его веки из пла, зеленые старые губы,
он широк, высокие стены замыкают его кольцом,
но на дне обитает вода, жалкая черная жижица,
которая сообщается со смертью, — вода живет,
скрытная, как лениво дремлющая игуана *.

Я, подмастерье вулканов, сызмальства знал
алые языки Аконкагуа,

огненную рвоту хриплого Тронадора,
в ужасных ночах я видел, как с Вильярики
скатывалось пламя, испепеляющее коров,
лавина, обращающая в угли дома и деревья,
треск, который валил в костер скалы.

Но если бы детство поместило меня сюда,
в этот вулкан, умерший тысячу лет назад,
в Рапо-Рараку, ну, смерти,
я бы выл от ужаса и стал смирным,
прожил бы жизнь шепотком, на цыпочках,
утонул бы в зеленом ужасе, в пасти беззубого кратера,
превратившись в ил, в язык игуаны.

В расщелине царит тишина,
лунный рот ощерился ужасом,
минуты обрастают часом, час давит,
словно застывшее время превратилось в огромный
камень, —
это длится лишь миг, и вскоре
время распыляет свою невероятную статую,
и день делается неподвижным, словно узник
в кратере, в камере кратера,
в глазах игуаны.

IV ЛЮДИ

Неуклюжие путники, мы толкаем друг друга локтями,
перепутались брюками, ногами и чемоданами,
выпрыгиваем из поезда, реактивного самолета, каюты,
спускаемся в измятых костюмах, в похоронных шляпах.
Мы, виноватые, мы, грешные, прибываем
из застоявшихся отелей, из промышленного благоденствия,
может быть, это последняя чистая сорочка,
куда-то запропастился галстук,
но даже в таком виде, разбитые, важные,
сукины дети, почитаемые в высших кругах,
или нелюдимы, которые никому ничего не должны,
мы все те же и все то же перед лицом времени,
перед лицом запустения — бедолаги люди, —
заработавшие на жизнь и на смерть
нормальным или бюрократическим способом,

сидящие или толпящиеся в метро,
на кораблях, в штатах, в учебных центрах,
в тюрьмах, в университетах и на пивных заводах
(под бельем — одна и та же ненасытная кожа,
а волосы — те же волосы, разве что разных оттенков).

V

ОСТРОВ

Все острова в море сотворены ветром.

Но здесь самый живой царь-ветер первым
основал свой дом, сложил крылья, стал жить.
С крохотного Рапануи он раздарил свое богатство —
дул, наводнял, являл свою милость —
западу, востоку, всему пространству
и основал чистейшие всходы,
пустил корни.

VI

ОСТРОВ

О Меланезия, пышная гроздь,
острова детородного ветра, зачатые
и размноженные в море ветром.

Из глины, лесов, летучего семени
снизалось дикое ожерелье мифов —
Полинезия, зеленый перец, рассеянный
по морской шире летучими пальцами
Владыки Ветра, царя Рапануи.

Из мокрого песка была первая статуя,
он слепил ее и, смеясь, разрушил.
Вторую он воздвиг из соли, и море
повалило ее и злорадно запело.
И тогда он поставил третью статую —
«моаи» * из гранита — и эта осталась.

Над ней колдовали ладони ветра,
перчатки неба, синие вихри,
прозрачные пальцы творили торс,
напряжение нагого безмолвия,
тайный взгляд безглазого камня,
треугольный нос корабля или птицы —

и обозначился дивный портрет:
у одиночества такой же лик,
такая же прямизна у пространства,
у далей такая же прямоугольная ясность.

VII ОСТРОВ

Когда гиганты размножились,
они, не сгибая спин, разбрелись,
заселили каменными носами весь остров
и старательно обзавелись потомством —
детьми ветра и лавы, внуками
пепла и воздуха и обошли
своими ножищами весь остров,
ни разу до этого так не трудился
своими руками бриз,
своею злобой циклон,
Океания своим пространством.

Огромные чистые головы,
высокие шеи, суровые взгляды,
гигантские челюсти, затвердевшие
от гордости за свое одиночество —
привидения-статуи,
надменные,
погруженные в думы.

Суровые величественные затворники,
кто осмелился, кто осмелится
спрашивать, допрашивать эти
вопрошающие изваяния?

Они — как распыленный вопрос,
летающий за пределы этой теснины,
покидающий узкое бедрышко острова,
обращенный к огромному морю,
к душе людей и к ее отсутствию.

Некоторым изваяниям не довелось подняться,
их руки не обрели форму, и они остались
в кратере, дремлют,
все еще покоятся на известковой розе,
не поднимая глаз на море,
гигантские порождения горизонтального сна —

они всего лишь каменные личинки тайны:
здесь их оставил ветер, когда убегал с планеты,
когда перестал производить из лавы детей.

VIII

ОСТРОВ

Лица, низвергнутые в самом центре,
разбитые, павшие, большие носы
врезались в известковый панцирь (гиганты —
на кого показывают? Вокруг — никого),
а рядом диковинная тропа гигантов:
здесь они крошились в пути и падали,
здесь они своим благодатным весом
целовали священный пепел, сюда они
вернулись к дожизненной магне,
покрылись океанским светом, изморосью,
вулканческой пылью, а позже — всей этой
одинокостью центра земли, всей круглой
одинокостью всего всеобщего моря.

Так странно видеть признаки жизни
внутри кольца, смотреть, как падают
розовые лангусты в ящики
из рук рыбаков, смотреть, как они
опять погружают свои тела в воду,
атакуя норы своего угодья,
рядом старухи латают штаны,
истертые бедностью, а за кружевом листьев —

девочка-цветок улыбается себе самой,
солнцу, звенящему полдню, церкви
отца Энглерта, чья могила тут же, —
да, улыбается, переполненная древним
счастьем, маленькая поющая амфора.

IX

ЛЮДИ

Нас учили почитать церковь,
не каплять, не плевать на паперти,
не стирать белье в алтаре, —
а на деле жизнь сокрушает религии,
а этот остров, где обитал Бог Ветер, —
единственная живая и настоящая церковь:

круговорот жизни, смерть и соитие,
здесь, на острове Пасхи, где все — алтарь,
где все — мастерская загадок,
женщина кормит грудью дитя
на уступах, по которым ступали боги.

Вот где жить! Но для нас ли это?
Пассажиры, обозначавшиеся звездой,
мы пошли ко дну на этой суше,
как в океане, — в этом пространстве,
замкнувшем все дали, — в испытании покоем,
самом трудном для нас испытании.

Х

люди

Да, разочарованная родня, прежде чем возвратиться
в загон, в улей печальных пчел,
туристы, решившие возвратиться, соседи
по темной улице с домами, набитыми древностями
и помойными ведрами, заклятые братья из номера
тридцать три тысячи четыреста двадцать семь,
шестой этаж, квартира А, В или Х,
что напротив склада «Асторкиса, Вильямс и К°»,
да, бедный мой брат, который — я сам,
теперь-то мы понимаем, что не останемся здесь
даже под страхом смерти, понимаем,
что весь этот блеск нам велик, что одиночество
жмет, как матросский костюмчик
мальчику-переростку,
слепит, как темнота, застлавшая день.

ХІ

люди

В общем-то, мы родились,
чтобы друг друга слушать, видеть, мерить
(кто выше прыгнет, кто больше заколачивает и так
далее),
чтобы не замечать друг друга (с ухмылкой), лгать,
договариваться, быть безразличными,
вместе обедать.
Но, чтобы никто не попрекал нас землей, —
мы облачаемся в беспамятство,
отмахиваемся от воздушных видений,

и остается лишь привкус крови и пыли
на языке: мы сглатываем нашу память
с глотком вина или пива, далекие от всего,
от того и этого, от матери, от земли нашей жизни.

XII

ОСТРОВ

Строгие профили отполированного кратера,
треугольники носов, лица из отвердевшего меда,
безмолвные колокола, чьи гулы
улетели к морю, чтоб не вернуться, челюсти,
взгляды неподвижного солнца, царство
большого безмолвья, вертикальные
развалины,
а я как новый, снова темный,
снова сияю —
я прибыл сюда, чтобы блеснуть, если удастся,
мне необходимо огнистое пространство,
без прошлого, — это сверканье,
океан, камень и ветер, —
чтобы трогать, видеть, снова строить,
чтобы на коленях испрашивать целомудрие у солнца,
чтобы докопаться жалкими кровоточащими руками
до сути, до судьбы.

XIII

ЛЮДИ

Мы прибыли издалека к дали,
чтобы заглянуть в орбиты камня,
в погасшие глаза, которые все еще смотрят,
в огромные лица, готовые к вечности.

XIV

ЛЮДИ

Как далеки мы от этой дали,
как далеки от этих суровых масок,
застывших в полном безмолвии, — мы уезжаем,
подавленные их гордостью, их пространством.

Зачем мы приехали на этот остров?
Возвращаясь, мы увозим с собою отсюда
не улыбку цветущих людей,

не мерцающие бедра красавицы Атароа,
не дерзкие взгляды мальчуганов верхом на лошади,
а океаническую пустоту, робкий вопрос
созвездий, скрививших презрительно губы.

XV

люди

Путешественник, путник, весьма довольный,
возвращается к своим колесам, к своим самолетам,
и — прощай, торжество тишины, необходимо
тут же проститься со сквозным одиночеством
ветра, воды, каменистого чистого луга,
бежать сломя голову от соли, от опасности,
от одинокого круга среди воды,
откуда пустые глаза моря,
позвонки и веки сумрачных статуй
язвили испуганного буржуа-горожанина;
остров Пасхи, не цепляйся, отстань.
Слишком много света, ты далеко,
а сколько воды, камня!
Too much for me! * Поехали!

XVI

люди

Усталый сирота
толпы, я,
измочаленное дитя бетона,
изгой переполненных ресторанов,
который вечно собирался уехать куда подальше,
я не знал, что делать на острове,
хотел (и не хотел) остаться (уехать),
мнительный гибрид, запутавшийся в себе самом,
я не нашел здесь места: каменная прямизна,
бескрайний взор гранитной призмы
и округлое одиночество изгнали его, меня, —
мы откочевали со своей грустью в другое место,
вернулись к своим врожденным агониям,
к неуверенности стужи и зноя.

XVII

ОСТРОВ

О башня света, печальная красота,
разбросавшая по морю статуи и ожерелья,

известковое око, знак обширной воды, крик
траурного буревестника, зуб моря, жених
ветреной Океании, одинокая роза,
срезанная с розового куста,
разъятого водной толщей на архипелаги,
о естественная звезда, зеленая диадема,
одинокая в своей одинокой династии,
все еще недостижимая, ускользящая, пустынная,
словно капля, виноградина, море.

XVIII

люди

Как нечто, вышедшее из воды, нагое, непобедимое,
как платиновое веко, хруст соли,
водоросль, дрожащая рыба, живое лезвие, —
я, от всех врозь, удаляюсь
от этого одинокого острова, уезжаю,
запахнувшись в свет,
и хотя принадлежу к стае,
к тем, кто прибывает и убывает стадами,
к обезличивающему туризму, ко множеству, —
я признаюсь в кровном родстве с этой областью,
вызванной к жизни зарей Океании.

XIX

люди

Мы спешим вернуться, нас ждут назначения,
брюзгливые публикации, горькие диспуты,
ферменты, войны, болезни, музыкальная мешанина,
которая нас всех осаждает, беспрерывно нам досаждает,
снова мы сплываемся в наши отряды,
хоть все единодушно и объявили нас мертвыми, —
и вот мы снова здесь с нашей кривою улыбкой,
то есть раздраженные тем, что нас, возможно, забыли, —
а сами забыли, что там, на островке без пальм,
там, где выдалбливают носы из камня,
треугольники, вычерченные под открытым небом и солью,
там, на малюсеньком морском пупе *,
мы оставили самую крайнюю чистоту,
простор, оторопь островных содружеств,
которые поднимают свой голый камень, свою правду,
и никто не удосужится полюбить их, жить с ними,

и в этом есть и моя трусость, каюсь —
меня хватает лишь на невечные здания,
а в этой столице без стен,
сложенной из света, соли, камня и разума,
я, как и все, огляделся и в страхе бежал,
покинул чистую ясность мифа,
бежал от статуй, окруженных синим молчанием.

XX ОСТРОВ

Из других мест (Цейлон, Ориноко, Вальдивия *)
я возвращаюсь с лианами, губками,
плодоносными стеблями, вьюнками,
с черными корешками землистой влаги...
Океанская роза, абсолютный камень,
вот я и уезжаю, чистый, процеживая ясность ветра,
возвращаюсь, синий, металлический, явный.

XXI ЛЮДИ

Дитя лесов и зимних железных дорог,
я, хранитель тех зим,
той грязи,
я с жалкой горбатой улочки,
темный поэт, ощутил на лбу поцелуй камня,
и стало светло на душе.

XXII ОСТРОВ

Любовь моя, одинокая роза, отдаленная многоморьем,
бескрайним, как снег и простор,
маленькая и таинственная, окруженная
вечностью, я благодарен тебе
не только за твой целомудренный взгляд,
за скрытую белизну, тайная роза, —
а за разумный отсвет твоих статуй,
за глухоманный покой,
который ты положила мне на ладони,
за день, застрявший в твоём горле.

XXIII

ЛЮДИ

Потому что если бы мы все сошлись там,
как вымирающие слоны,
прибегнувшие к кислороду всяя земли, —
если бы армады сытых и голодных,
арабов и бретонцев, теуантепеков *
и гамбуржцев, сенегальцев и хмурых чикагцев, —
все вместе поняли бы, что там прячут ключи
от дыхания, от равновесия,
которое покоится на правде камня и ветра, —
если бы именно так было, и ринулись бы расы,
и обезлюдели бы нации, —
и все мы отправились бы толпой на остров,
если бы мы все вдруг стали мудрыми
и высадились бы на Рапануи, — мы бы его убили,
убили своими шажипсами, диалектами,
плевками, баталиями, религиями,
и там тоже не стало бы воздуха,
рухнули бы наземь статуи,
стали бы грязными столбами каменные носы,
и все бы от горечи умерло.

XXIV

ОСТРОВ

Прощай, всеочищающая роза,
пух золотой, таинственная суша,
мы возвращаемся к своим занятиям,
к своим печальным службам и ремеслам.
Храни тебя, великий океан,
от нашей чистоплотности угрюмой!

Сегодня одиночество преступно,
спрячь, остров, древние свои ключи
в пещере лавовой, среди скелетов,
которые нас будут упрекать
до той поры, пока не станут прахом,
за наше бесполезное вторжение.

Мы возвращаемся. Слова прощанья
пусты, а их торжественность смешна

в сравнение с тем, что остается здесь, —
немая безучастность в центре моря,
сто взоров камня самоуглубленных
и обращенных к вечности воды.

ИЗ КНИГИ «ЗИМНИЙ САД» (1974)

С ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ...

Необходимо постичь некоторые обыкновенные добродетели, эти будничные облачения, кажущиеся невидимыми оттого, что всегда на виду, — и не пялить глаза на виртуоза, на пожирателя пламени и женщину-паука.

Уверенно славлю лесное превосходительство, первородный трепет, престол естества, хозяйственность великих обыкновений карабкаться по уступам следующих поколений по примеру некоторых моллюсков, победивших моря. Все мы — люди, серые звенья жизней, повторяющихся до смерти, — не так уж и склонны к пышным мундирам, к разрыву с кем-то по каким-то соображениям — нам по душе контакты, простая любовь, чистый хлеб, футбол, улицы с мусором под ногами, собаки со снисходительными хвостами, лимонный сок при восшествии на стол рыбы-тихони.

Прошу разрешения быть как все, как весь мир и как любой из нас, — убедительно прошу, если речь идет обо мне. — ведь речь идет обо мне, — исключить барабаны и медь на время моего визита и удовольствоваться моим спокойным отсутствием.

МОРЕ ЗОВЕТ

Я не поеду к морю этим летом, когда безбрежен зной, я не уеду от этих стен, дверей, от этих трещин, опутавших все жизни и мою.

В каком просторе, под каким окном
и на каком пустынном полустанке
я море потерял? Я повернулся
спиной к тому, что сызмальства любил,
а чуть поодаль длилась битва камня
и молний, зелени и белизны.

Так было — все как будто так и было, —
за жизнью жизнь, а тот, кто умирает,
не ведает, что этот берег жизни,
что эта нота верхняя, и щедрость
ревушая, и блеск — вдали остались,
опали слепо за твоей спиной.

Зачем мне мертвое, чужое море,
с печалью городов по берегам,
где волны не умеют убивать
и не навьючены басовой солью!
Мне море подавай мое — пальбу
стихий, осадившей берега,
неповторимое крушение яшмы
и пену, где онемевает власть.

Я не поеду к морю этим летом —
я заключен, я заточен в тоннель,
где, словно узник, первобытным слухом
распознаю зеленый рев, и гром,
и катаклизмы битого стекла,
шуршанье вечной соли и агоний.

Там Океан ревет, Освободитель, —
на родине, заждавшейся меня.

ВРЕМЯ

День сделан из многих дней, а час состоит
из подоспевших минут опоздания, — день
формируется из вычурных забвений, металлов,
стекла, одежды, которая валялась в углу,
предсказаний, никогда не дошедших писем.
День — это озеро в лесу будущего,
озеро, которое завалила листва, предостережения,
глухие звуки, уходящие в воду,

как небесные камни.

На берегу

остаются золоченые следы сумеречного лиса,
юркого царька, жаждущего кровопролития, —
день в своем мерцании копит шелушинки, шепот:
внезапно все возникает, как одеяние,
принадлежащее нам, и как тугое мерцание,
которое дождалось своего часа и умирает,
по приказу ночи опрокидываясь
в темноту.

**ИЗ КНИГИ
«ЖЕЛТОЕ СЕРДЦЕ»
(1974)**

ЛЮБОВНЫЙ НАПЕВ

Люблю тебя, мое «люблю»
сравнимо с песней во хмелю.

Люблю тебя, мой воздух пьяный,
мой виноград с лесных полян,
мое вино, порок мой пряный,
любовь, напиток мой желанный,
тебя пригублю я — и пьян,
ты — чара и давящий чан,
моей судьбы сосуд дурманный.

Люблю, с изнанки и с лица,
спешу с моей нескладной данью,
напев нестройный горлопаню,
где ни начала, ни конца.

На сиплом горне я упорно
трублю все то же целый день:
люблю тебя, моя валторна,
моя малышка светотень,
улыбчивая белизна,
моя душа, еда и ложка,
соль сумрачных недель, жена,
луна средь ясного окошка.

СТАТУЯ В ТИШИНЕ

Так много сил ушло на гомон,
на колокольный перезвон
в процессе бракосочетаний,
открытий или награждений,
что я решил проститься с гамом
и прибыл в зону тишины
для пешего существования.

Сорвется ли на землю слива,
или развалится волна,
скользят ли по ленивым дюнам
золотокожие девчонки,
или объявится цепочка
огромных птиц передо мной —
ничто не воет, не скрежещет,
не гомонит и не гремит
в моей разведке бессловесной,
поэтому и стал я жить
в консерватории молчанья.

Здесь воздух до сих пор немой,
невидимая вата глушит
скольжение автомобилей,
а политические толпы
с перчаточным снованьем рук
текут под куполом безмолвья,
где не услышишь даже мухи.

Здесь говорливые болтушки
обычно топят в прудах
или тихонько проплывают,
как лебеди и облака,
а летним утром поезда,
в которых столько ртов и фруктов, —
ни перестука, ни свистка
здесь не обронят, как циклоны,
несущиеся в тишине.

Здесь дни на занавес похожи,
на полуночные ковры,
и лето с осенью танцует,
пока на дюнах не задремлет
немая статуя зимы.

ИЗ «КНИГИ ВОПРОСОВ» (1974)

Какая желтая птица
высиживает лимоны?

Кто слышал слова раскаяния
от убийцы-автомобиля?

Сколько церквей на небе?

Что делает муха, застрявшая
в одном из сонетов Петрарки?

За что меня блохи кусают
и сержанты от литературы?

Что говорят рубины
про гранатовый сок?

Как добился свободы
брошенный велосипед?

Правда ли, что в муравейнике
обязателен мертвый час?

Чему смеется арбуз,
когда его убивают?

Правда ли, что янтарь
содержит слезы сирен?

Как зовется цветок,
порхающий с птицы на птицу?

У глаз моих я спросил:
когда мы увидимся снова?

Так, значит, это неправда,
что бог обитал на луне?

Какого цвета на запах
синие слезы фиалок?

Почему в канун снегопада
деревья должны оголяться?

Почему бедняки, став богаче,
не понимают друг друга?

Сколько сферических метров
от солища до апельсинов?

Сливают ли батраки
память в общую бочку?

Хранятся ли сны богачей
в общем гранитном сейфе?

Почему для своих конгрессов
зонты выбирают Лондон?

Где я себя отыскал?
Там, где меня потеряли?

Где та стальная лоза,
с которой упал метеор?

Где мальчик, которым я был, —
во мне еще или ушел?

Зачем мы так долго росли
вместе — чтобы расстаться?

Почему мы не умерли оба,
когда умерло мое детство?

Как месяц зовется между
декабрем и январем?

Почему не придумали месяц,
который бы длился год?

Какая из птиц диктует,
в каком порядке лететь?

Когда я смотрю на море —
видит ли меня море?

Учатся доброте
или видимости доброты?

Сколько огненных О
изрыгают лОкОмОтивы?

Словарь — это старый склеп
или улей тайного меда?

Читает ли бабочка книгу
своих порхающих крыльев?

Как зовутся циклоны,
когда они отдыхают?

Почему так роскошна роза,
а золото хлеба тускло?

Осень — легальное или
подпольное время года?

**ИЗ КНИГИ
«ИЗБРАННЫЕ НЕДОСТАТКИ»
(1974)**

ВЫХОД ЗДЕСЬ

Какой же он улыбчивый товарищ!
Как энергично он хлопочет на арене
моей республики. Порою мне казалось,
что вот сейчас с него слетит улыбка,
когда он ходит по канату или машет
плащом во время праздничной корриды,
бестрепетный в международном свете, —
но выходил сухим он из воды,
целехонек и снова скалил зубы.

Но вместе с этой полуправой правдой
в нем уживалась также и моя
взаправдашняя правда,
которую он привязал к дубине
и все искал, кого ей стукнуть по лбу.

И боже мой, как он преуспевал,
мой закадычный друг, мой брат по правде
и мой заклятый недруг по обману.

И я ценил в нем доброе начало:
его застенчивость, как у простолюдина,
с которой тот сидит в гостях, поскольку после
ему брести в село по бездорожью.

Другого же, цветущего нахала,
со всей его — да-да — поганой сворой
клеймил я, бичевал, разоблачал
бескомпромиссно и непримиримо.

Но завтра, брат мой, завтра с кем меня
оставишь ты, а я тебя оставляю?
Какой из двух непримиримых половин
поставят завтра памятник потомки?

Давай подружим пламя со слезой,
чтоб навсегда они соединились,
не докучая ни избытком злобы,
ни избытком доброты. Ведь мы смекнули,
что никогда не будем столь примерны
и столь порочны. Осторожней с жизнью!
Меняя мир, да убоимся все же
оставить от него лишь половину.

НЕДОТЕПА

Родился я столь неспособным к тяжбе,
что Педро и Хуан в один момент
всё разобрали —
все мячи, девчонок,
таблетки аспирина, сигареты.

Для недотепы детство — сущий ад,
а так как я всегда был самым глупым
среди других глупцов — я проворонил
все ластик, карандаши, и ручки,
и даже первый поцелуй в Темуко.

Какими были девушки тех дней!
Я не встречал принцесс, подобных им,
таких же траурных, и голубых,
и светлых, словно лук и перламутр,
точенные носы и точность рук,
невыносимые глаза лошадок,
а ноги — словно лилии и рыбы.

Сказать по чести, я в ту пору был
худой, как палка, прикрывая спесью
смущение влюбленного болвана, —
я не решался бросить взгляд на ноги,
на волосы, которые с макушек,
как буйный водопад из темных струй,
обрушивались на мои желанья.

Потом все было как всегда, сеньоры, —
повсюду, где случалось мне бывать,
мое соперничество прерывал
холодный взгляд или колючий локоть —
мне преграждали путь к столу, к блондинкам,
которых уводили из-под носа.

Я даже не умею возмущаться.

Все эти ухищрения — блистать
заслугами и славными делами,
давать понять, что ты орденосец
и обладатель титулов, — все это
не соответствует моей природе:
я забиваюсь в тихую нору,
достаточно тычка или пинка,
и я в своем падении животном
все ниже опускаюсь, словно крот,
который в комфортабельных глубинах
избавлен даже от визита мух.

Печальна биография моя,
хотя я и могу предположить,
что ваша не намного веселее,
поскольку я предположить могу,
что вы, сеньор, еще глупей, чем я.

ДРУГОЙ ЗАМОК

Нет, не из пламени я сотворен,
я состою из тряпок, ревматизма,
бумажек порванных, забытых строчек —
наскальных знаков жалких на обломках
былых утесов.

Где замок из хрустального дождя?
Где молодость, и снов ее печаль,
и та полурасцветшая мечта
о птице в небе, об орле в полете,
о пламени на рыцарском гербе?

Нет, я не луч лазурного огня,
вонзенный, как копьё,
в безоблачное сердце.

Нет, жизнь — не острие ножа,
не вспышка звездная,
а медленный износ под ворохом одежд,
ботинок, обновленный сотни раз,
изъеденная ржавчиной медаль
в коробке темной, темной.

Ни новых горестей я не прошу, ни роз,
не безразличием я болен, нет,
а просто каждый знак уже начертан,
и начертания стирает горький ветер;
моя душа теперь как барабан немой
на берегу реки, все той реки,
которая была и вечно будет.

ДРУГОЙ

Вчера мой товарищ,
нервный, блистательный, цельный,
снова вызвал во мне старую зависть,
заставил
тяготиться моей непереходной сущью.

Я им напал на себя, собою напал
на него, а это холодит, как лезвие,
когда ты выясняешь себя в других,
когда твое убожество кровоточит
в тебе, как взрезанная артерия,
и ты хотел бы отстроить себя заново
самим собою, каким бы ты хотел стать,
но не стал.

Мой товарищ с древним лицом,
похожим на лик вулкана, —
пепел, шрамы
вокруг старых пылающих глаз
(этих лампад, мерцающих из его недр),
руки в морщинах, бесхитростный,
как вулкан нашей жизни, —
неужели ранить умершего,
докапываться
до его краха, разбирать башню его
гордости,
расширять трещину противоречий,
лакомиться хлебом его угрызений,
взвешивать сброшенную с трона гордыню
своей скрытной гордыней?
Но разве этого я добиваюсь! Мне надо
выяснить, был ли он настоящим —
человек, который угасал и воспламенялся,
молил, чтобы на него взглянули, —

ожидал ли этот мастер презрения
любви от презируемого, как это случается
со многими гневными попрошайками?

Здесь я заканчиваю эту историю —
не мной она завершена, а смертью,
одно лишь ясно — все метят в судьи,
одержимые жгучим желанием
покопаться в чужой несправедливости.

ПАРОДИЯ НА ВОИНА

Что они делают там, внизу?
Похоже, что очень заняты
и варятся в своих занятиях.

Там, внизу, там, внизу,
там, вдали,
порой они слишком шумят;
отсюда мне плохо видно:
я не различаю деталей,
не вижу их ртов,
их улыбок,
их рваных ботинок.
Но почему они не приходят?
Куда они денутся без меня?

Я здесь! Вот он, я!
В мыслях я чемпион по лыжам и боксу,
по гонкам с препятствиями,
по черным крыльям,
я — палач,
я — священник,
я — полководец в великих сражениях.
Нет, ни за что на свете
не оставляйте меня!
Не уходите!

У меня есть часы,
у меня есть пуля,
у меня проект финансовой партизанской войны,
я способен на все,
я вам общий отец,
проклятые сыновья.

Что случилось?
Вы забыли меня?
Отсюда, сверху, я вижу,
как они медлительны без моих ног,
как нерешительны без моих советов,
как неловко они двигаются по мостовой.
Они ничего не знают о солнце,
незнакомы с порохом,
должны научиться, как быть детьми,
как завоевывать,
всходить на вершины,
выпускать журналы,
истреблять блох,
читать карты
и открывать острова.

Все кончилось.

Они ушли по своим улицам к своим войнам,
к своему равнодушию, к своим постелям.

Я остался — застрял
в зубах одиночества
кусочком разжеванного мяса,
древней-преддревней костью
какого-то вымершего зверя.

Не имеете права! Я требую
моего зонального управления, моих контор,
звания, заслуженного в полку
или добытого на футбольном поле,
я не хочу быть в тени.

Мои пересохшие губы жаждут света,
а пьют они только тень.

**ИЗ КНИГИ
«МОРЕ, КОЛОКОЛА»
(1973)**

НАЧАЛО

День — это не час за часом,
это боль за болью, —
не морщинится время,
не изнашивается,
море говорит «море»,
не умолкая,
земля говорит «земля» —
а человек ждет.
И только его колокол,
один из многих, —
хранит в своей полости
полную тишину,
которая расколется, как только
шевельнется его железный язык.

Из всего, чем я владел,
измерив коленями землю —
здесь, сейчас, нагой, —
я владею лишь слитком полдня,
морем, колоколом.

Они отдают мне свой голос, чтобы страдать,
свой наказ, чтобы повременить.

Это со всеми:

простор продолжается.

И море живо.

И существуют колокола.



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мой профиль напоминает
столько смертей, что я
не в силах и умереть,
я не способен на это,
напрасно меня искать,
я отправляюсь в путь
с бедной моей судьбой,
одинокой кобылкой,
пасущейся на лугах
юга Южной Америки, —
здесь дует железный ветер,
деревья гнутся к земле,
они приучены с детства
кланяться — целовать
землю, земной простор,
позже ложится снег,
состоящий из тысяч
неиссякаемых стрел.
Я возвращаюсь оттуда,
где и останусь отныне —
из завтрашнего вчера,
я вернулся со всеми
моими колоколами,
стал сажёнцем в этих местах,
оглядываю луга,
целую горькую землю,
поскольку всем надлежит
повиноваться зиме,
позволить ветру расти
внутри тебя самого,
пока не выпадет снег
и не сплотятся в одно
Сегодня и День, Вчера
и Ветер,
похолодало,
мы остаемся одни
и умолкаем.
Спасибо.

ДАВНЫМ-ДАВНО...

Давным-давно, в одно из путешествий,
я неожиданно открыл реку —
она была дитя, щенок, пичуга:
едва рожденная на свет, она
хрипела и шуршала
между скал
железистого горного хаоса
в уединении небес и снега,
там, наверху.
Я ощутил усталость —
так старый конь глядит, окаменев,
на легконогое дитя природы,
которое вот-вот начнет скакать,
расти
и петь во весь прозрачный голос,
знакомиться с землей,
камнями, руслом,
брести без усталости сквозь ночь и день,
пока не превратится в шумный гром,
пока не станет головокруженьем,
пока не станет тихой широтой,
пока не станет утоленьем жажды,
патриархальною и судоходной, —
так мне явилась малая речушка,
слепая металлическая рыбка,
сорящая чешуйками вокруг,
серебряной проказливостью брызг, —
речушка,
плачущая в колыбели,
взбухающая на моих глазах.
Там, в Кордильерах родины моей,
давным-давно мне довелось увидеть,
услышать и потрогать
рождество,
биенье, звук того, что нарождалось
в камнях...

КАКОЙ-ТО МАЛЕНЬКИЙ ЗВЕРЕК...

Какой-то маленький зверек —
свиненок,
птенец или беспомощный щенок,

нечто в лохмотьях перьев или шерсти,
всю ночь
хрипело, билось в лихорадке.

В тугой ночи
на Исла Негра море
ворочало свой гром, свой хлам железный,
все битое стекло и тонны соли,
бросаясь на застывшую скалу.
И тишина за каждым низвержением
воды была открытой и враждебной.

Мой сон латал
прерывистую ночь,
когда лохматый маленький зверек,
больной ребенок или медвежонок,
метался в лихорадке, задышался, —
как маленький костер страданья, хрип
перед бескрайней темнотою моря,
перед кремешной башней тишины, —
звереныш раненый,
заморыш,
который еле слышно верещал
в полночной полости,
совсем один.

ПОСОЛ

Я жил на улочке, куда сбегались
мочиться все коты, вся собачья
Сантьяго.
Дело было в 25-м.
Я жил самозатворником с поэзией,
которая меня переносила
в Сады, где царствовал Альбер Самен *,
к блистательному Анри де Ренье *
и к синим опахалам Малларме *.

Ничто так не спасает от мочи
неисчислимых пригородных шавок,
как это иллюзорное стекло —
окно во Францию с прохладой парков,
где целомудренные изваянья
(напомню, дело было в 25-м)

обменивались мраморной одежкой,
замшелой, помягчевшей от касаний
бесчисленных столетий элегантных.

На этой улочке я был счастливым.

Позднее, много лет спустя, я прибыл
в Сады Парижа в качестве Посла.

Поэты отбыли из этих мест.

А изваяньям был я незнаком.

ЕСЛИ И ВПРЯМЬ...

Если дни и впрямь падают
в бездну ночей,
то, наверно, существует колодец,
где покоится ясность.

И надо сесть
на закраину тьмы
и терпеливо удить
упавший туда
свет.

ВСЕ

Скорее всего моего Я не будет, Я не смог,
не был, не видел, меня нет, —
но позвольте, — в каком Июне, в какой
древесине Я рос до сих пор, продолжая
рождаться?

Выходит, Я не рос вовсе, а продолжал умирать?

В дверях Я повторял
звук моря,
колоколов, —
разузнавал про Я с упоением
(позднее с жадностью),
с перезвоном, с журчанием,
с нежностью, —
и вечно опаздывал.

уже Я не отвечал себе самому,
столько раз оставался без Я.

Уже моя прежнестъ была далеко,
и Я отправился к первому дому,
к первой женщине,
ко всему на свете,
спрашивал про Я, про Ты, про Все, —
и там, где не было Я, не было никого,
все было пусто,
поскольку было уже не сегодня,
а завтра.

Зачем искать что-то попусту
на каждом пороге, где нас не станет
по той причине, что мы еще не настали?

Вот так Я и понял,
что Я был как Ты,
как Все на свете.

ВСЕГДА В КРОВИ...

Всегда в крови была земля людей.
Дожди, постройки, годы и дороги
на время скрадывают звезды крови.
Планета, в сущности, невелика,
а сколько раз ее в крови топили:
война и месть, охота на людей,
и люди падали, их пожирали,
и вновь забвенье отмывало каждый
квадратный метр, уже вдали маячил
очередной пройдоха монумент,
опять звучали бронзовые речи,
а там — конгрессы, памятные даты,
муниципалитет и вновь — забвенье...
Как мы искусны в деле истребления,
с какой научностью корчем память!
Опять на ранах выросли цветы.
Опять цветы? Ну что ж, ребятки, снова
готовьтесь убивать, и умирать,
и разбивать на крови цветники.

ПАДАЮТ, ПАДАЮТ МГНОВЕНЬЯ...

Падают, падают мгновенья, минуты,
падают в колодец, в невод, во время,
медленно, но неостановимо,
падают, соединяются в стаи,
как рыбы,
накапливаются, как бутылки и камни.
Там, в глубине, легко объясниться
минуте с часом, днем
и неделям,
с туманной областью воспоминаний,
необитаемых ночей, одежд,
женщин, поездов и провинций,
время густеет,
и каждый час
растворяется в тишине,
крошится и падает
в окись останков,
в черный поток
оборотной ночи.

ПЕДРО ПОХОЖ НА КОГДА...

Педро похож на Когда и на Как.
Клара скорее всего — Несомненно,
Роберто — вылитое Однако, —
все шастают по свету с предложениями,
прилагательными и подлежащими,
которыми тычут друг в друга на улице,
в корпорациях и в магазинах,
каждый норовит меня взвесить
при помощи своих разновесок,
своих обстоятельств образа действия,
относительных, как старая шляпа, —
я спрашиваю: куда они движутся?
Куда мы движемся
с нашим товаром
предусмотрительности, облачаясь
в словеса и хитроумные сети?
А между пальцев течет, словно дождь,
истина и то, что спешит совершиться,
кружатся улицы,
полные мусора,

и мы залепляем, словно коврами,
стены салонов, балконов и спален
обрывками
произнесенных речей —
ни у кого ничего не осталось:
ни золота, ни сахара, ни настоящих
друзей, ни радостей — этих вещей
не касаются, об этом не говорят,
похоже, что их и нет, все не ясно,
камень, твердая древесина,
почва и воспаренье материи,
счастливой материи, — ничего
не осталось, только люди без цели,
слова без судьбы, а они продвинулись
не дальше, нежели ты и я,
не дальше стен твоего учреждения —
все мы с головою в делах,
вот нас срочно зовут
к телефону
и сообщают официально,
что быть счастливыми — запрещено.

ДА, ТОВАРИЩ...

Да, товарищ, это время — время сада
и время битвы, что ни день —
новые цветы или новое кровопролитие:
наше время присудило нас к тому,
что мы поливаем цветочки
и поливаем нашей кровью глухой переулок,
доброта и злоба поделили
зону мерзлоты и пространство костра,
нет иного выбора —
дороги неба,
где раньше слонялись ангелы,
сегодня заселены специалистами.

Исчезли лошади.

Герои облачены в кожу рептилий,
зеркала живут пустые,
потому что праздник всегда на другой улице,
куда мы не приглашены,
где в дверях давка.

И сейчас, в предпоследний,
в двадцать откровенный раз
мой колокол зовет:
в сад, товарищ, к лилии,
к яблоне, к неуступчивой гвоздике,
к благоуханию цветущих апельсинов,
а уж после — к делам войны.
Тоненькая — наша родина,
и на ее обнаженном ножевом лезвии
пылает наше нежное знамя.

ВСЕ СПРАШИВАЛИ У МЕНЯ: КОГДА ЖЕ...

Все спрашивали у меня: когда же,
когда же я отбуду? Будто я —
тот, что однажды в мертвой тишине
связал себя ужасным договором:
когда-нибудь и навсегда уехать,
хотя и не тянуло никуда.

Друзья, я остаюсь,
я из Икике,
я с черных виноградников Парраля,
от рек Темуко я происхожу,
от тоненькой земли —
я есмь, я здесь.

ГОРОД

Гнилые зубы городских окраин,
изголодавшиеся стены зданий,
покрытые отрешьями афиш,
повсюду мусор,
мертвый человек
среди ленивых зимних мух,
отбросов.
Сантьяго —
голова моей отчизны,
простертой вдоль огромных Кордильер,
вдоль вереницы снежных кораблей,
печальное наследство от столетий
изнеженных сеньор

и кабальеро с белою бородкой,
чудных тростей и серебристых шляп,
когтистых лап, упрятанных в перчатки.

Сантьяго —
грязная, в плевках, в крови,
истерзанная, грустная столица,
наследье от господ и их господства.

Наш город, сердце наше,
как отмыть
твое лицо и кожу!
Наша Золушка,
я так хочу вернуть тебе весну,
благоуханье,
жить в тебе, живой,
воспламенять тебя, воспламениться,
и смерть осилить, чтобы ты воскресла,
цвела, — дать руки новые тебе,
глаза, цветы согретых солнцем зданий!..

ПРОСТИТЕ, ЧТО МОИ ГЛАЗА СВЕТИЛИСЬ...

Простите, что мои глаза светились
лишь тусклым светом океанской пены,
простите, что у моего пространства
ни гавани, ни края,
ни конца.
Всегда был монотонным мой напев,
а слово — будто сумрачная птица,
как живность меж камней,
как неутешность
студеной, вечно девственной планеты.
Простите за сквозную непрерывность
воды, камней и пены, за абсурд
приливов — здесь мое уединенье,
здесь соль кусает стены моего
таинственного бытия, где я —
лишь малая частица
мироздания,
всегдашней дали, чьи колокола
ее дробят и множат в стольких волнах, —
часть тишины, чьи водоросли тихо
опутывают тонущий напев.

ЗАПЕЛ ДРОЗД

Запел перед рассветом дрозд-сорсаль,
чистейшая из птах в просторах Чили,
звал, ликовал,
писал по ветру звуки
в тиши рассветной,
здесь, зимой, у моря,
где голубые полосы
вдали,
как тонкие лоскутья флага, плыли,
покамест синева не разрослась
и все не стало синего синее,
поскольку каждый день — не что иное,
как синий хлеб на каждый божий день.

С ВИЗИТОМ МОРЕ?..

С визитом море?.. Что ж, пускай войдет!
И принесите
огромный колокол зеленой расы,
не этот — тот, что рядом —
с растрескавшейся бронзовой щекой.
Теперь хотел бы я побыть один
с верховным морем, с колоколом...
Хотел бы хоть один бескрайний раз
не говорить, понять —
я есмь на свете?

ФИНАЛ

Матильда, годы, дни,
во сне, в лихорадке,
здесь, там,
ломать
себе хребет,
кровоточить живую кровью,
то просыпаясь,
то забываясь сном, —
больничные койки, чужаки окна,
белые одеянья сиделок,
тяжесть в ногах.

Позже все эти переезды,
и снова мое море,
твои волосы в моем изголовье,

твои легкие руки
на свету, на моем свету,
на моей родине.

Так дивно было жить,
когда рядом жила ты.

А мир еще синее, вещественнее,
ночью, когда я сплю,
огромный, внутри твоих кратких рук.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 5. *Араукáрия* — род высоких хвойных деревьев.

Стр. 11. *Сальвадор Альенде* (1908—1973) — президент Чили в 1970—1973 годах, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1973). Убит во время военно-фашистского переворота.

Стр. 13. *Farewell* (англ.) — прощание.

Стр. 32. *Walking around* (англ.) — на прогулке.

Стр. 36. ...возникаю я, Оливерию, Нора... — имена общих друзей Гарсиа Лорки и Неруды: аргентинские поэты Оливерию Хирондо, Нора Ланге, Рикардо Молилари; испанские прозаики и поэты Висенте Алейсандре, Рафаэль Угарте, Рафаэль Альберти, Мануэль Альтолагирре, Луис Росалес; чилийцы — композитор Акарио Котапос, дипломат Карлос Морла Линч и его супруга Бебе; аргентинская художница Делиа дель Карриль.

Стр. 40. *Рауль, ты помнишь? Ты помнишь, Рафаэль? А ты, в земле лежащий Федерико...* — аргентинский поэт Рауль Гонсалес Туньон, Рафаэль Альберти и расстрелянный фашистами Федерико Гарсиа Лорка.

Стр. 41. Первая интернациональная бригада добровольцев-антифашистов прибыла в Мадрид в начале ноября 1936 года.

Намек на марокканские воинские части.

Стр. 43. *Альмерíя* — испанский город на побережье Средиземного моря. 31 мая 1937 года немецкий линкор «Адмирал граф Шпее» обстреливал его в течение нескольких часов.

Стр. 44. Поэма написана в 1942 году в Мехико, где Неруда занимал пост консула. Двадцать тысяч плакатов с текстом «Песни любви к Сталинграду» были расклеены на стенах домов мексиканской столицы.

Стр. 45. *Педро Гарфиас* — известный испанский поэт, комиссар республиканского батальона.

Арауканы, патагонцы, гуарани — индейские племена, паселяющие различные районы Южной Америки.

Стр. 48. *Гаррота* — средневековое орудие казни, железный ошейник, стягиваемый винтом.

Стр. 49. *Симон Боливар* (1783—1830) — один из виднейших организаторов войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке (1810—1826).

Стр. 50. *Теруэль* — город в Испании, *Харама* и *Эбро* — реки, где шли тяжелые бои между республиканцами и фашистами.

Стр. 52. *Пятый полк* — созданная коммунистами в августе 1936 года регулярная воинская часть, насчитывавшая до 70 тысяч солдат и офицеров; послужил основой для будущей республиканской армии.

Казармы Ла Монтанья — центр фашистского мятежа в испанской столице. 19 июля 1936 года почти безоружные мадридцы взяли штурмом этот оплот мятежников.

Стр. 53. *Карибы* — индейские племена, некогда обитавшие на Антильских островах и в областях материка, прилегавших к Карибскому морю.

Чибчи — индейские племена, некогда населявшие территорию Венесуэлы, Колумбии, Коста-Рики и Панамы.

Инки — индейские племена, обитавшие в Центральном Андах; создали могущественное государство, которое к XV веку простиралось от современного Эквадора до Чили.

Стр. 54. *Ахрасы* — сапотекский цветок.

Мачу-Пикчу — священный город инков, построен ими в горах на высоте 2690 метров над уровнем моря, крепость, в которой индейцы укрылись от испанских завоевателей. Проезжая через Перу в 1943 году, Неруда посетил руины Мачу-Пикчу; там, по его собственному признанию, и родился замысел эпопеи.

Стр. 60. *Урубамба* — река в Перу.

Стр. 61. *Мантур* — река в Перу.

Стр. 64. *Виракоча* — в космогонической мифологии инков — верховное божество, создавшее мир и людей.

Стр. 66. *Нарваэс* — Пánфило де Нарваэс, конкистадор.

Стр. 72. *Мятежная Америка. 1800.* Начало XIX века ознаменовалось подъемом освободительного движения народов Латинской Америки, которое вылилось в Войну за независимость колоний Америки 1801—1826 годов.

Стр. 77. *Сантос* — город и порт в Бразилии.

Стр. 79. *Лота* — одна из провинций в Чили.

Стр. 80. *Видалита* — аргентинская народная песня.

Вальпараисо — центр провинции того же названия.

Стр. 81. *Алькальд* — здесь: глава муниципалитета.

Гуайра — порт в Венесуэле.

Стр. 85. *Веракрус* — город и штат того же названия в Мексике.

Лонкимай, Лонкоче, Карауэ — города в Чили.

Стр. 86. *Орисаба* — вулкан в Мексике.

Стр. 89. *Токопилья* — порт в Чили.

Стр. 90. *Пеумо* — растение из семейства лавровых.

Стр. 92. *Томас Лаго* (1903—1975) — чилийский писатель и этнограф, друг юности Неруды, его соавтор по книге прозаических миниатюр «Кольца» (1926).

Стр. 93. *Рубен Асокар* (1901—1965) — чилийский писатель, друг юности Неруды.

Хувенсио Валье (род. в 1905 г.) — чилийский поэт, друг юности Неруды.

Стр. 94. *Диего Муньос* (род. в 1904 г.) — чилийский поэт, друг юности Неруды.

Гуаякиль — порт в Эквадоре.

Стр. 95. *Тампа* — город в Чили.

Иллинойс — штат в США.

Стр. 96. *Био-Био* — река в центральной части Чили; долгое время служила естественной границей между испанскими колонизальными владениями и непокоренной Арауканией.

Музей в Вайоминге — имеется в виду музей Уолта Уитмена.

Стр. 98. *Хуан Овалье* — здесь: собирательный образ бедняков округа Овалье.

Стр. 99. *Яманас* — индейское племя, обитающее на побережье Огненной Земли.

Антофагаста — порт в Чили.

Rapa — на языке коренных жителей — остров.

Стр. 100. *Incorporation* (англ.) — корпорация, объединение.

Фронтера — буквально: граница; историческая область в Чили.

Стр. 110. *Фраскати* — город в Италии неподалеку от Рима.

Стр. 111. *Пабло Пикассо* (1881—1973) — французский художник, активный борец за мир и демократию, лауреат Международной премии мира (1950) и международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1962).

Валорис — городок на юге Франции, где жил и работал Пикассо в 50-е годы.

Стр. 114. *Третья Патагония* — так называемые антарктические владения Аргентины.

Герника — город в провинции Бискайя, древний центр баскской культуры; этому событию посвящена картина П. Пикассо «Герника» (1937).

Стр. 115. *Альтамира* — пещера в Испании, стены которой покрыты изображениями животных, в частности быков.

Ориноко — река в Венесуэле.

Стр. 116. *Ренато Гуттузо* (род. в 1912 г.) — знаменитый итальянский художник.

Стр. 117. *...императорская Полина...* — Полина Бонапарт

(1786—1825), сестра Наполеона I; в Риме находится знаменитая мраморная статуя Полины, изваянная скульптором Кановой.

Стр. 125. *Пенсильвания* — один из штатов США.

Мачадо — Херардо Мачадо-и-Моралес, кубинский диктатор.

Батиста — Фульхенсио Батиста, кубинский диктатор.

Стр. 126. *Трухильо* — Рафаэль Леонидас Трухильо Молина — диктатор Доминиканской Республики; убит в 1961 году.

Стр. 157. *Осорно* — город в Чили и провинция того же названия.

Стр. 160. *Матильда* — Матильда Уррутиа, жена поэта.

Стр. 183. *Сан-Антонио* — порт в Чили.

Стр. 190. *Чильян* — город в Чили.

Стр. 194. *Сьерра* — имеется в виду Сьерра-Маэстра.

Стр. 196. *Саргасо* — разновидность морских водорослей.

Стр. 212. *Болид* — метеор с длинным светящимся хвостом.

Стр. 224. *Мендоса* — провинция в Аргентине.

Стр. 233. *Там ночь воздвигла статуи свои...* — гигантские изваяния человеческих фигур, происхождение которых до сих пор не выяснено.

Стр. 234. *Пайсанду* — речной порт в Уругвае.

Игуана — разновидность ящерицы.

Стр. 236. «*Моаи*» — слово «статуя» в рапануйском языке.

Стр. 241. *Too much for me!* (англ.) — слишком много для меня!

Стр. 242. *...морском пупе..* — в древнейших преданиях жителей Рапануи их остров называется «Пуп вселенной».

Стр. 243. *Вальдивия* — провинция в Чили.

Стр. 244. *Теуантепеки* — так Неруда называет жителей мексиканской провинции, расположенной на перешейке Теуантепек, между Атлантическим и Тихим океанами.

Стр. 264. *Альбер Самен* (1858—1960) — французский поэт.

Анри де Ренье (1864—1936) — французский поэт и прозаик.

Стефан Малларме (1842—1898) — французский поэт, один из вождей символизма.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ПАБЛО НЕРУДЫ

1904. Нефтали Рикардо Рейес Басоальто (Пабло Неруда) родился 12 июля в Парралле, на юге Чили, в семье Хосе дель Кармен Рейеса Моралеса и Росы Басоальто, умершей в августе того же года.

1906. Отец с сыном переезжает в Темуко и женится на донье Тринидад Кандиа Марверде.

1910. Пабло Неруда поступает в мужской лицей в Темуко.

1917. В июле в газете «Ла Маньяна» (Темуко) появляется первая публикация Неруды.

1920. С октября месяца псевдоним Пабло Неруда становится постоянным для всех публикаций поэта.

1921. Приезжает в Сантьяго, где поступает в педагогический институт на французское отделение. В октябре получает первую премию на конкурсе студенческой федерации Чили за стихотворение «Праздничная песнь».

1927. Пабло Неруда назначается консулом в Рангун. 16 июля — прибытие в Мадрид, 20 июля — в Париж, затем Марсель, откуда отплывает в Рангун.

1928. Консул в Коломбо (о. Цейлон).

1929. Участие во Всеиндийском конгрессе в Калькутте.

1930. Консул в Батавии (о. Ява).

1931. Консул в Сингапуре.

1932. После двухмесячного путешествия на корабле возвращается в Чили.

1933. В августе приехал в Буэнос-Айрес в качестве консула Чи-

ли. Здесь он впервые встречается с испанским поэтом Федерико Гарсиа Лоркой.

1934. В мае прибыл в Барселону в качестве консула. В декабре — поэтический вечер с чтением стихов в Мадридском университете, где его представляет Федерико Гарсиа Лорка.

1935. Переезжает в Мадрид, куда его назначают консулом. В октябре начинает выходить руководимый Нерудой журнал «Зеленый конь для Поэзии».

1936. 18 июля — начало национально-революционной войны испанского народа. Фашистскими мятежниками расстрелян Федерико Гарсиа Лорка. Неруда начинает писать «Испанию в сердце». Его смещают с поста консула. Едет в Валенсию, оттуда в Париж. 7 ноября вместе с Нанси Кунард начинает издавать журнал «Поэты мира защищают испанский народ».

1937. В феврале — конференция в Париже по творчеству Федерико Гарсиа Лорки. В апреле Неруда вместе с перуанским поэтом Сесаро Вальехо учреждает в Париже испано-американскую группу помощи Испании. 2 июля на Конгрессе американских наций в Париже произносит речь в защиту республиканской Испании. В октябре возвращается в Чили. Учреждает и руководит Альянсом интеллигенции Чили в защиту культуры.

1938. 7 мая в Темуко умирает отец Неруды, 18 августа — приемная мать. В октябре Неруда объезжает Чили, выступая. В Испании на фронте около Барселоны печатают его «Испанию в сердце».

1939. Назначен консулом по эвакуации испанцев с центром в Париже. В конце года на борту корабля «Виннипег» переправляет в Чили большую партию эмигрантов.

1940. В январе возвращается в Чили. Приступает к работе над «Всеобщей песнью». В августе приезд в Мехико, где начинает работать в качестве генерального консула Чили.

1941. Поездка в Гватемалу. В декабре подвергся нападению группы фашистских молодчиков в Куэрनावাকে. Получает сотни писем соболезнования от интеллигенции из всех уголков Латинской Америки.

1942. В апреле — поездка на Кубу. 30 сентября он читает перед аудиторией «Песнь любви Сталинграду», чуть позже напечатанную на афишах.

1943. В феврале едет в Нью-Йорк на встречу «Голоса всех Америк». После возвращения в Мексику, 1 сентября выезжает на

родину, посещая по дороге страны Тихоокеанского побережья Америки: Панаму, Колумбию, Перу. Здесь он осматривает развалины Мачу-Пикчу.

1944. Награждается муниципальной премией.

1945. В марте Неруда избран сенатором Республики Чили от провинций Тарапака и Антофагаста. Получает Национальную литературную премию. 8 июля вступает в Компартию Чили. В июле поездка в Бразилию на чествование Лупса Карлоса Престеса. В августе выступает перед читателями Буэнос-Айреса и Монтевидео.

1947. Путешествие к Магелланову проливу. Публикует «Личное письмо миллионам людей», которое дает повод президенту республики начать судебное преследование Неруды по политическим мотивам.

1948. 6 января выступает в сенате с обвинительной речью, опубликованной позже под заглавием «Я обвиняю». В феврале Неруду лишают звания сенатора, и отдается приказ о его задержании. С этого времени он уходит в подполье. Работает над «Всеобщей песнью».

1949. 24 февраля Неруда покидает Чили, пересекая Кордильеры. 25 апреля он участвует в работе Первого всемирного конгресса в защиту мира. В июне впервые посещает Советский Союз на праздновании 150-летия Пушкина. В июле посещает Польшу и Венгрию. В августе совершает поездку в Мексику вместе с Полем Элюаром. В сентябре участвует в работе Латиноамериканского конгресса сторонников мира в Мексике.

1950. В Мексике публикуется «Всеобщая песнь» с иллюстрациями Давида Альфаро Сикейроса и Диего Риверы. В Чили выходят два подпольных издания «Всеобщей песни». Неруда совершает поездки в Гватемалу, в Чехословакию и Францию, затем в Италию и в Индию, где встречается с Джавахарлалом Неру. В ноябре участвует в работе II Всемирного конгресса сторонников мира. Получает Международную премию мира за поэму «Пусть проснется Лесоруб». В СССР «Всеобщая песнь» издается тиражом 250 тысяч экземпляров.

1951. Встречи с читателями в различных городах Италии. Участвует в кинофестивале в Карловых Варах и в фестивале народного искусства в Моравии. Совершает поездку на поезде через Сибирь в Монголию. Поездка в Пекин для вручения Международной премии мира госпоже Сун Ятсен.

1952. 12 августа возвращается в Чили.

1953. Организует Континентальный конгресс культуры в Сантьяго, на котором присутствуют видные представители латиноамериканской культуры, такие, как Диего Ривера, Николас Гильеп, Жоржи Амаду и др. В декабре ему вручается международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами».

1954. На пятидесятилетие Неруды в Сантьяго приезжают многие выдающиеся деятели мировой культуры. Неруда передает в дар Университету Чили свою библиотеку.

1955. Создает и редактирует газету «Гасета де Чиле». Поездки в Советский Союз и другие социалистические страны, в Италию и Францию.

1957. Издание Полного собрания сочинений. Поездка в Аргентину, где 11 апреля его арестовывают и выпускают на свободу лишь после вмешательства консула Чили. Неруду выбирают президентом Общества писателей Чили.

1960. Поездки в Советский Союз, Польшу, Болгарию, Румынию. Чехословакию. Посещает революционную Кубу.

1961. Возвращается в Чили. Выходит миллионный экземпляр «Двадцати стихотворений любви и одной песни отчаяния».

1962. Неруде присваивается звание академика факультета философии и образования Университета Чили.

1964. Празднование шестидесятилетия Неруды в Национальной библиотеке с выступлениями видных писателей Чили. В конце года Неруда объезжает всю страну от севера до юга.

1965. Путешествует по Европе. Участвует в работе конгресса в защиту мира в Хельсинки. Как член комитета по международным Ленинским премиям посещает Москву.

1966. Путешествует по различным странам мира. Пишет драматическую кантату «Сияние и смерть Хоакина Мурьеты».

1967. В мае участвует в работе съезда советских писателей в Москве.

1969. В сентябре Центральный Комитет Компартии Чили выставляет Неруду кандидатом в президенты республики. Он участвует в создании блока Народного единства. Позднее снимает свою кандидатуру в пользу Сальвадора Альенде.

1970. Активно участвует в предвыборной кампании Сальвадора

Альенде. С победой на выборах Народного единства и приходом к власти Сальвадора Альенде Неруда назначается послом своей страны во Франции.

1971. Становится лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1972. Поездка в Нью-Йорк по приглашению Международного пен-клуба, где Неруда выступает с речью, в которой рассказывает об американском заговоре против Чили. В ноябре покидает пост посла Чили во Франции и возвращается на родину. Правительство и народ Чили устраивают массовый праздник в честь поэта на национальном стадионе в Сантьяго.

1973. В середине года Неруда направляет воззвание к латиноамериканской и европейской интеллигенции в защиту чилийской революции. 11 сентября — фашистский переворот в Чили и гибель Сальвадора Альенде. 23 сентября — смерть Пабло Неруды. Его дом в Вальпараисо и дом в Сантьяго, где находилось тело поэта, подверглись разгрому.

СОДЕРЖАНИЕ

П. Грушко. Путь человека к человечеству . . .	5
-----------------------------------------------	---

Из книги «Собрание закатов» (1923)

Наваждение запаха. Перевел С. Гончаренко . . .	13
Fagewell. Перевел С. Гончаренко . . .	13
Осенняя бабочка. Перевел А. Гелескул . . .	15
Мы порознь шагали. Перевел Б. Дубин . . .	16
* Моя душа. Перевел П. Грушко . . .	16

Из книги «Двадцать стихотворений любви и одна песня отчаяния» (1924)

Двадцать стихотворений любви

III . . .	18
IV . . .	18
VI . . .	19
VIII . . .	19
IX . . .	20
XV . . .	21
XVI . . .	21
XIX . . .	22
XX . . .	22
Песня отчаяния . . .	23

Перевел П. Грушко

Из книги «Восторженный прачник» (1933)

«Камни улетают из моей прачи...» Перевел С. Гончаренко . . .	26
--------------------------------------------------------------	----

Из книги «Местожителство — Земля. I» (1933)

Склонность . . .	29
Призрак на борту грузового судна . . .	30

Перевел С. Гончаренко

Из книги «Местожителство — Земля. II» (1935)

Walking around . . .	32
Ода Федерико Гарсиа Лорке. Перевел В. Столбов . .	33

Из книги «Третье местожителство» (1947)

Воссоединение под новыми знаменами . . .	38
Перевел С. Гончаренко	
Некоторые объяснения. Перевел П. Грушко . . .	39
Прибытие в Мадрид Интернациональной бригады.	
Перевел П. Грушко . . .	41

Альмерия. Перевел П. Грушко	43
Песнь любви Сталинграду. Перевел П. Грушко	44
Новая песнь любви Сталинграду. Перевел С. Гончаренко	46
Песнь Боливару. Перевел П. Грушко	49

Из книги «Всеобщая песнь» (1950)

Любовь-Америка. Перевел Б. Дубин	53
Вершины Мачу-Пикчу	
Раздел I. Перевел С. Гончаренко	54
Раздел II. Перевел С. Гончаренко	55
Раздел III. Перевел С. Гончаренко	56
Раздел IV. Перевел С. Гончаренко	56
Раздел V. Перевел С. Гончаренко	57
Раздел VI. Перевел С. Гончаренко	58
Раздел VII. Перевел С. Гончаренко	59
Раздел VIII. Перевел С. Гончаренко	60
Раздел IX. Перевел С. Гончаренко	62
Раздел X. Перевел М. Зенкевич	63
Раздел XI. Перевел М. Зенкевич	64
Раздел XII. Перевел М. Зенкевич	64
Путь завоевателей по островам. Перевел П. Грушко	66
Союз земли и человека. Перевел Ф. Кельин	66
Я вдруг пробуждаюсь ночью с мыслями о далеком юге. Перевел Ф. Кельин	67
Я вспоминаю одиночество пролива. Перевел Ф. Кельин	68
Здесь дарит только отчаяние. Перевел Ф. Кельин	68
Невзирая на гнев. Перевел Ф. Кельин	69
Освободители. Перевел С. Гончаренко	70
Мятежная Америка. Перевел С. Гончаренко	72
Знамена. Перевел С. Гончаренко	73
Чилийцы. Перевел С. Гончаренко	74
Настанет день. Перевел С. Гончаренко	74
Как рождаются знамена. Перевел О. Савич	76
С вершины. Перевел С. Гончаренко	76
На побережье. Перевел С. Гончаренко	77
Зимой в южных широтах, верхом на коне. Перевел С. Гончаренко	77
Преступления. Перевел С. Гончаренко	77
Юность. Перевел С. Гончаренко	78
Времена года. Перевел Л. Осоват	78
Центральная Америка. Перевел С. Гончаренко	78
Голод чилийского юга. Перевел С. Гончаренко	79
Патагония. Перевел С. Гончаренко	79
Человек, похороненный в пампе. Перевел С. Гончаренко	80
Портовые рабочие. Перевел С. Гончаренко	80
Америка. Перевел С. Гончаренко	81
Не все вызываю к тебе, Америка. Перевел С. Гончаренко	82
Вечность. Перевел Л. Осоват	82
Гимн и возвращение. Перевел Л. Мартынов	84
Хочу вернуться на юг. Перевел Л. Осоват	85
Печаль вблизи Орисабы. Перевел Л. Осоват	86
Токопилья. Перевел Л. Осоват	89

Пеумо. Перевел Г. Оболюев	90
Чилийский бамбук. Перевел Г. Оболюев	90
Заброшенные земли. Перевел Л. Основат	91
Томас Лаго. Перевел Л. Основат	92
Рубен Асокар. Перевел Л. Основат	93
Хуенсио Валье. Перевел Л. Основат	93
Диего Муньос. Перевел Л. Основат	94
Пусть проснется Лесоруб	
V. Перевел С. Кирсанов	94
VI. Перевел П. Грушко	95
Брат Пабло. Перевел М. Зенкевич	97
Голод и гнев. Перевел М. Зенкевич	98
Народ. Перевел М. Зенкевич	98
Дети берегов. Перевел М. Самаяев	99
Дом. Перевел С. Кирсанов	100
Товарищи по путешествию. Перевел С. Кирсанов	101
Студентка. Перевел О. Савич	102
Война. Перевел О. Савич	103
Возвращение. Перевел С. Кирсанов	104
Сражающаяся доброта. Перевел С. Кирсанов	105
Я буду жить... Перевел П. Грушко	106
Моей партии. Перевел П. Грушко	106

Из книги «Стихи капитана» (1952)

Похищенная ветка	108
Гора и река	108
Перевел М. Алигер	

Из книги «Виноградники и ветер» (1954)

Плоды. Перевел Ф. Кельин	110
Пикассо. Перевел Ф. Кельин	111
Корабельный фонарь. Перевел Б. Слуцкий	112
Прибытие в порт Пикассо. Перевел Б. Слуцкий	113
Гуттузо, из Италии. Перевел Б. Слуцкий	116

Из книги «Оды изначальным вещам» (1954)

Человек-невидимка. Перевел О. Савич	119
Ода Америкам. Перевел Б. Слуцкий	124
Ода воздуху. Перевел О. Савич	127
Ода счастливому дню. Перевел Л. Основат	130
Ода морю. Перевел О. Савич	131
* Ода огню. Перевел П. Грушко	134
Ода книге. Перевел П. Грушко	139

Из книги «Новые оды изначальным вещам» (1956)

Ода глазу. Перевел П. Грушко	142
* Ода запаху дров. Перевел П. Грушко	145
Ода ночной прачке. Перевел Б. Слуцкий	147
Ода колючей проволоке. Перевел Л. Основат	149
Ода словарю. Перевел П. Грушко	150

Из книги «Третья книга од» (1957)

Ода велосипеду	154
Ода пчеле	156
Перевел П. Грушко	

Из книги «Эстравагарио» (1958)

Прошу тишины	160
Город уже ушел	161
Скатерть на всех	162
Страх	163
Сколько всего случается за день	164
Давайте выйдем	165
° В те дни	166
Пастораль	168
° Соната с несколькими соснами	168
° В конце концов они ушли	170
Такие уж они получаются	172
Возвращается друг	173
Зверинец	173
° Осеннее завещание	177
<i>Перевел П. Грушко</i>	

Из книги «Плавания и возвращения» (1959)

Ода якорю. <i>Перевела М. Алигер</i>	183
° Ода водам европейского Севера. <i>Перевел П. Грушко</i>	184
Ода водам порта. <i>Перевела М. Алигер</i>	185
Ода Ленину. <i>Перевел О. Савич</i>	186

Из книги «Сто сонетов о любви» (1959)

Утро	
I	189
VIII	189
XV	190
XXIV	190
XXV	191
XXVII	191
День	
XLIV	192
Ночь	
LXXXVIII	192
XCIV	193
C	193
<i>Перевела М. Алигер</i>	

Из книги «Песня о подвиге» (1960)

Героическое деяние. <i>Перевел П. Грушко</i>	194
--------------------------------------------------------	-----

Из книги «Камни Чили» (1961)

От одиночества к одиночеству. <i>Перевел О. Савич</i>	196
-----------------------------------------------------------------	-----

Из книги «Торжественные песни» (1961)

Конец карнавала. <i>Перевел С. Гончаренко</i>	198
---------------------------------------------------------	-----

Из книги «Мемориал Исла Негра» (1964)

° Робость	204
Бессонница	205
° Рыбак	205
° Магнетическое искусство	206
° Одиночество	206
° Возможно, есть еще время	207
<i>Перевел П. Грушко</i>	

Из книги «Птицы Чили» (1966)	
Альбатрос	208
Корморан	208
<i>Перевел О. Савич</i>	

Из книги «Баркарола» (1967)	
Колокола России. <i>Перевел П. Грушко</i>	210
Космонавт. <i>Перевел С. Гончаренко</i>	212
Баркарола кончается. Соло соли. <i>Перевел С. Гончаренко</i>	214

Из книги «Руки дня» (1968)	
Чего проще	218
Глагол	218
<i>Перевел П. Грушко</i>	

Из книги «Светопреставление» (1969)	
Порог	220
Время жизни	222
Мир переполнился	223
Печать	224
Опасность	225
<i>Перевел П. Грушко</i>	

Из книги «Бесплодная география» (1972)	
Грузовик со срубленными деревьями на одной из дорог Чили	226
По порядку номеров	227
И все же	228
<i>Перевел П. Грушко</i>	

Из книги «Призыв к расправе с Никсоном и хвала чилийской революции» (1973)	
Наследие	229
Против смерти	229
Я остаюсь здесь	230
Иди со мной	230
° Возвращение	231
<i>Перевел П. Грушко</i>	

«Одинокая роза» (1974)	
Вступление к моей теме	233
I. Люди	233
II. Люди	234
III. Остров	234
IV. Люди	235
V. Остров	236
VI. Остров	236
VII. Остров	237
VIII. Остров	238
IX. Люди	238
X. Люди	239
XI. Люди	239
XII. Остров	240
XIII. Люди	240
XIV. Люди	240

XV. Люди	241
XVI. Люди	241
XVII. Остров	241
XVIII. Люди	242
XIX. Люди	242
XX. Остров	243
XXI. Люди	243
XXII. Остров	243
XXIII. Люди	244
XXIV. Остров	244
<i>Перевел П. Грушко</i>	

Из книги «Зимний сад» (1974)

С позволения сказать...	246
Море зовет	246
Время	247
<i>Перевел П. Грушко</i>	

Из книги «Желтое сердце» (1974)

Любовный напев	249
Статуя в тишине	249
<i>Перевел П. Грушко</i>	

Из «Книги вопросов» (1974)

«Какая желтая птица...» <i>Перевел П. Грушко</i>	251
----------------------------------------------------------	-----

Из книги «Избранные недостатки» (1974)

Выход здесь. <i>Перевел С. Гончаренко</i>	254
Недотепа. <i>Перевел П. Грушко</i>	255
Другой замок. <i>Перевел В. Столбов</i>	256
Другой. <i>Перевел П. Грушко</i>	257
Пародия на воина. <i>Перевел В. Столбов</i>	258

Из книги «Море, колокола» (1973)

° Начало	260
° Возвращение	262
Давным-давно...	263
Какой-то маленький зверек...	263
Посол	264
Если и впрямь...	265
° Все	265
Всегда в крови...	266
° Падают, падают мгновенья...	267
Педро похож на Когда...	267
Да, товарищ...	268
Все спрашивали у меня: когда же...	269
Город	269
Простите, что мои глаза светились...	270
Запел дрозд	271
С визитом море?...	271
Финал	271
<i>Перевел П. Грушко</i>	

Примечания	273
----------------------	-----

Хроника жизни Пабло Неруды	277
--------------------------------------	-----

Неруда П.
Н54 Вре́мя жизни: Стихотворения. Пер. с исп.
/Предисл. П. Грушко. — М.: Мол. гвардия, 1982. —
287 с., ил. — (Школ. б-ка).

В пер.: 85 к. 200 000 экз.

В сборник стихотворений выдающегося чилийского поэта Пабло Неруды, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и Нобелевской премии по литературе, вошли лучшие образцы его творчества. Издание рассчитано на массового читателя.

Н 4703000000—047
 078(02)—82 257—81.

ББК 84.70
И (Латин)

ИБ № 3194

Пабло Неруда
ВРЕМЯ ЖИЗНИ

Редактор **В. Бурич**
Художник **М. Шарипова**
Художественный редактор **А. Степанова**
Технический редактор **Н. Носова**
Корректоры **А. Долидзе, И. Ларина**

Сдано в набор 22.07.81. Подписано в печать 05.01.82. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 15,12. Учетно-изд. л. 14,3. Тираж 200 000 экз. (100 001—200 000 экз.). Цена 85 коп. Заказ 948.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

исп.
2. —

по-
пре-
ской
рче-

84.70
тин)

мат
ная
изд.
коп.

тва
ипо-





...Вдали от всех я говорю
со всеми.
Иные люди слушают,
не слыша.
Но те, кого я воспеваю,
— люди,
которые и слушают
и слышат,
— бессмертны. Их все
больше на земле.

Пабло Неруда



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1982

